

Государственный университет – Высшая школа экономики

Центр фундаментальной социологии

Социологическое обозрение

ISSN 1728-192X (Print)

ISSN 1728-1938 (Online)

Том 8. № 1. 2009

Интернет-версия журнала на сайте www.sociologica.net

Главный редактор – Филиппов Александр Фридрихович
Ответственный секретарь – Пугачева Марина Геннадиевна

Члены редколлегии

Баньковская Светлана Петровна
Вахштайн Виктор Семенович
Куракин Дмитрий Юрьевич
Савельева Ирина Максимовна
Полетаев Андрей Владимирович
Корбут Андрей Михайлович (Белоруссия)
Александр Джеффри (США)
Надточий Эдуард (Швейцария)

Редактор интернет-сайта – Сергей Петрович Еремин
Литературный редактор – Каринэ Акоповна Щадилова

Адрес редакции: mail@sociologica.net
puma7@yandex.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕВОДЫ

Альбион Смолл
Что такое социолог? 3

Гарольд Гарфинкель
Концепция и экспериментальные исследования «доверия»
как условия стабильных согласованных действий 10

РЕЦЕНЗИИ

Никита Харламов
Ольга Шевченко. Кризис и повседневность в постсоциалистической Москве. 52

СТАТЬИ И ЭССЕ

Дискуссия «Теория практик vs теория фреймов»

Вадим Волков
Слова и поступки 56

Виктор Вахштайн
Между «практикой» и «поступком»:
невыносимая легкость теорий повседневности 61

Андрей Корбут
На что можно указать пальцем?
Фрейм, практика, вещь и кое-что еще 70

Татьяна Тягунова
Смотреть этнофеноменологически 86

IN MEMORIAM

Памяти Вадима Цымбурского

Эдуард Надточий
На смерть Робинзона Крузо 100

«Мы закрутились в каком-то странном межвременье...»
Интервью с В.Л.Цымбурским М.Г.Пугачевой и С.Ф.Ярмолук 101

.

ПЕРЕВОДЫ

Альбион Смолл

ЧТО ТАКОЕ СОЦИОЛОГ*?

Аннотация. Альбион Смолл – глава первой в США и в мире университетской кафедры социологии (1892 г.) и основатель первого профессионального журнала социологов (1895г.). Борясь с неверными представлениями широкой публики и ревнивыми предубеждениями специалистов более старых и давно признанных общественных наук за самоопределение социологии, он пытается уточнить, что значит быть социологом. Вопреки мнению публики надо отличать социологов от практических работников социальной сферы и не сводить деятельность первых к посещению трущоб, организации благотворительности, опеке над неимущими и другими социально неуспешными элементами. Специфика занятий социолога не сводима и к остаточным конкретным темам, не затронутым другими общественными науками. Эту специфику следует искать в использовании определённого метода изучения социальных фактов. Метод этот автор называет философским, но его описание приближается к тому, что позже стали называть системным подходом. Решающий пункт социологической позиции по Смоллу состоит в искусстве рассматривать и оценивать любой частный аспект или фрагмент социальной жизни в прошлом, настоящем и будущем в его отношениях и взаимовлияниях с остальными проявлениями человеческой жизни в целом. Такой «искусник» имеет право на звание социолога даже независимо от самоназвания экономистом, политологом и т.д. В свете этого, предельно общего, определения метода автор различает типы (видовые категории) социологов: от генерализующих, занятых самыми широкими обобщениями, до заинтересованных в каких-то насущных конкретных улучшениях, но соблюдающих стандарты научного метода. В конце статьи рассматриваются вопросы соотношения профессионального «технического» языка социологии и обыденного языка восприятия социальных фактов публикой, а также опасные злоупотребления, провозглашаемые от имени социологии и подстрекающие к идейно незрелым массовым движениям. Автор призывает ограничиться на начальном этапе становления социологической науки задачей разработки точных формулировок социальных проблем и обоснованных методов их решения.

Ключевые слова. Социальный факт, социолог, философ, метод социологии, профессиональный язык социологии и обыденный язык.

Американская общественность вообще и чикагская в частности недавно пережила приступ интереса к определению родовой принадлежности «социолога». Наш уважаемый президент дал повод к этому, назначив в Комиссию по урегулированию забастовки шахтёров на место, которое намеревались предложить «выдающемуся социологу», железнодорожника, имевшего опыт организации работников железной дороги. Газеты вполне естественно задали два вопроса: 1. Достоин ли этот назначенец такого места? 2. Можно ли считать его социологом? Прежде чем заглохли отзвуки дискуссии, известный президент одного колледжа на востоке страны воспользовался случаем, чтобы в выступлении перед уважаемыми гражданами Чикаго связать звание «социолог» с ассоциациями вокруг понятий «чуждак» и «эксцентричный оригинал». Он сказал, что на его взгляд социологии нечего делать кроме как подбирать и суммировать крохи, оставшиеся после того, как всё важное в области

* *Small A.W.* What is a Sociologist? // *American Journal of Sociology.* 1903. №8. P.468-477.

© Ковалев Д., 2009.

© Центр фундаментальной социологии, 2009.

социальных фактов уже сделано политической наукой и экономикой. На этом основании чикагские газеты вновь подняли вопрос «что же такое социолог?», и некоторые из них показали понимание предмета, явно превосходящее понимание упомянутого учёного специалиста, который из кожи лез, чтобы поставить свои ограничительные заборы социологам.

Нас не заботит вопрос, будет ли железнодорожный механик лучшим арбитром по трудовым спорам, чем социолог. Он может быть или не быть таковым в зависимости от множества обстоятельств. Не спрашиваем мы и о том, насколько высокой оценки заслуживает социолог во мнении других людей. Это вопрос, который сам собой решится со временем. Но было бы совсем неплохо для социологов иногда выносить себя непосредственно на суд публики, дабы понять, какой кажется обычным людям их роль в делах мира сего. Социолог может выглядеть или не выглядеть в глазах других людей важным членом общества, но его место в нём вполне возможно так определить, а его работу так описать, что даже президенты колледжей сумели бы научиться говорить о нём вежливо и умно.

Пока примем в общих чертах, что социолог – это человек, который изучает социальные факты *неким определённым методом*. Не всякий занимающийся общественными явлениями становится социологом, в любом случае не в большей степени чем каждый лудильщик и кузнец может считаться физиком, каждый повар и мыловар – химиком, а каждый садовник и животновод – биологом. В каком-то смысле каждое из этих практических занятий составляет проходную фазу в развитии соответствующей науки, с которой оно наиболее тесно связано. В таком смысле и по степени вторжения в научные области производственного рабочего можно называть физиком, химиком, биологом и т.д. Если в подобном свободном применении терминов есть хоть какой-то резон, то точно такая же логика распространяется и на причастность обыкновенных работников социальной сферы к термину «социолог». Печатник может быть ещё и государственным деятелем, но мы не называем на этом основании искусство набора текстов искусством государственного управления. Аналогично, организатором какого-то профсоюза может быть социолог, но организация рабочих союзов – это всё-таки не социология. Заслуживает или не заслуживает данный человек звания социолога зависит от степени, в какой он использует «определённый метод» изучения социальных фактов, который ниже будет описан подробнее.

Это, конечно, вопрос меры, большей или меньшей степени наличия чего-то. Здесь не идёт речь о различии между абсолютно непохожими явлениями. Мы не в состоянии провести произвольную границу, по одну сторону которой люди – государственные деятели, учёные или художники, а по другую – нет. Каждый из нас даже в своей повседневной работе немножко и государственный деятель, и учёный, и художественная натура. То же самое можно сказать обо всех жизненных занятиях. К примеру, вряд ли возможно закрепить термин «коммерсант» только за одним, отличным от всех прочих разрядом или классом людей. Продавец шнурков или арахиса на углу улицы по некоторым элементам своего поведения такой же коммерсант, как и директора Ост-Индской компании. Мальчишки, спекулирующие «экстренными» выпусками газет, по-своему не меньше «финансисты», чем мистер Морган со своими грандиозными операциями. Все такого рода различия между людьми – это различия в степени интересующего нас качества. Градации превращения дилетанта в человека науки подчиняются общему правилу.

Продолжим наши рассуждения тезисом, что социолог – это человек, который изучает социальные факты *как философ*. Без сомнения, большинство чувствуют или думают подобно одному из типических героев Джордж Элиот: «Философ – последний вид животного, на которое я согласился бы походить. Я нахожу достаточным просто жить, не путаясь в ложных объяснениях жизни». При всём уважении к мнению большинства, мы вынуждены настаивать, что такая оценка страдает неточностью. Философ – это человек, которого не удовлетворяет познание какого угодно явления самого по себе. Он хочет узнать, как каждое явление соотносится и уживается с другими явлениями. Здесь все явления предполагаются

относительными. Могильщик в «Гамлете» и диккенсовский Сэм Уэллер – это маленькие и Бэконы, и Канты, и Гегели, хотя мы называем их «философами» только в юмористическом смысле. Немало людей философствуют выше уровня этих литературных типов и всё-таки не понимают достаточно много вещей, почему их мысли не заслуживают присвоения истинно философского ранга. Такие люди находят «связь времён» распавшейся в тысяче измерений. Некоторые из них пытаются исправить мир. При этом они, каждый на своём месте, могут действовать умно или глупо. Но в любом случае имеется так же много и так же мало причин для именования их социологами, как и для называния «политологами» изобретателя машины для голосования, или учредителя системы регистрации прав на владение землёю, или главу административного округа. Такие люди могут быть, а могут и не быть деятелями политической науки. Частная, конкретная работа, которой они занимаются, не доказывает ничего. Но существуют индивиды, способные совмещать и объединять в своём мышлении ещё больше явлений и намного убедительнее демонстрировать его философский дух. Они занимаются фактами, которые регулярно появляются в разных науках вместе, как бы семейством. Это могут быть науки о материальных объектах, вроде астрономии или геологии, и могут быть науки о людях, как история или экономика. Для хорошей работы во всех этих науках требуется относительно высокий уровень философских способностей, но люди нередко действуют в этих науках так, словно абстракции, которые каждая из них преимущественно использует, достаточны и замкнуты в самих себе, не нуждаясь в настройке применительно к менее интересным аспектам целого, из коего они были извлечены. Например, было немало историков, которые довольствовались исключительно выяснением того, что происходило «на самом деле». Они так узко смотрели на свою работу, что изучение подлинно случившегося в истории казалось им более важным, чем выяснение того, достойно ли это изучения. Было много экономистов, прибавивших нечто к знанию правил, которым должны следовать нации, чтобы увеличивать своё богатство, и потому полагавших, будто тем самым они учли всё ценное, что имеет смысл для благополучия наций. И деятели политической науки часто разрабатывали принципы правления, довольствуясь объяснениями политической машинерии как цели в себе и не тревожа себя вопросами о конечных целях, для коих всякое правление есть лишь средство. Учёные описанного типа работают с некоторыми из тех фактов, которые изучает и социолог, но в подходе к ним они проявляют так мало философского духа, что остаются собственно только узкими специалистами. Однако есть и такие историки, экономисты и политологи, которые пытаются выяснить связи между фактами, специально изучаемыми ими, и всеми другими фактами, встречающимися в человеческом опыте. Эти люди по существу философы, и только второстепенные различия, обусловленные разделением труда, а не принципиальные родовые различия отделяют их от социологов.

Из сказанного доселе следует, что на звание «социолога» имеют право все, кто изучает общество, кто думает о человеческой жизни, прошлом, настоящем и будущем как о так или иначе связанных процессах; и кто старается понять любой частный фрагмент человеческой жизни, который случится изучать, разбирая его отношения и взаимовлияния со всеми остальными проявлениями человеческой жизни. Очень многие думают о социологии просто как о претенциозном переименовании посещения и опеки трущоб. Они полагают, что социология большей частью интересуется некоторыми из наименее успешных или нежелательных элементов общества. Они считают её погрязшей в планах улучшения условий жизни наёмных рабочих или возящейся с пауперами и криминальными элементами. Такое понятие о социологии поощряют люди, занимающие видные академические позиции, которым следовало бы знать вопрос лучше неакадемической публики. В этом взгляде столько же истины, сколько в представлении, будто химия занимается исключительно ядами, процессами гниения и дурными запахами. Каждое человеческое призвание, от возделывания почвы до написания эпических поэм и основания этнических религий, интересует социолога прямо пропорционально важности роли, которую это конкретное призвание играет в драме жизни в её целом. Социолог – это человек, который в наше время науки пытается занять то

место, которое в века метафизической спекуляции занимал старомодный философ. Если вспомнить, что прежние философы метались между сократической общедоступностью и платоновским идеализмом, то нас не должно удивлять разнообразие видов социологов, какие будут упомянуты ниже. Социолог пытается рассматривать жизнь с точки зрения, которая даёт возможность обозревать всё, что только позволяет нам узнать наука о фактах человеческой жизни в их совокупности; и независимо от его специальных занятий в системе разделения труда, социолог старается настроить их на познание жизни в целом, как она видится с высот упомянутой точки зрения.

В таком случае род «социолог» включает очень много видов. Особи одного из видов занимаются исключительно самыми широкими обобщениями, какие только можно извлечь из открываемых наукой социальных фактов. Они усердно трудятся, опираясь на позитивную философию наблюдаемого человеческого опыта вместо всех философий, строящихся на предвзятых мнениях о жизни общества. В меру того, насколько удачно такие социологи сумеют обобщить и понять смысл изучаемых фактов, они, возможно, помогут вскоре облегчить и улучшить условия жизни для каждого. Но они не приносят непосредственной практической пользы ни одному среднему человеку, и, похоже, будет лучше для всех, если в профессиональных вопросах этот тип социологов и средний человек продолжат идти своими раздельными путями и оставят друг друга в покое. Отныне и очень надолго всем будет лучше оттого, что Чарлз Дарвин спокойно продолжал свои исследования в течение жизни целого поколения, не требуя аплодисментов публики и не отвлекаясь на писания, которые эта публика могла бы понять и принять. А между прочим, тысячи людей каждый год применяли на практике то, что давно было известно о материальных условиях жизни растений и животных, но без пользы для развития биологии. Оба эти рода людей делают своё дело, и подобным же образом сосуществуют сферы деятельности и для генерализующих социологов, и для практических социальных работников, которые имеют лишь смутное понятие о человеческом обществе в целом и которых, следовательно, правильнее не называть социологами.

Далее, существуют социологи, которые работают над осмыслением некоторых малых моментов социальной деятельности, ну, скажем, какой-то проблемы в психологии социального действия. Общая идея социальной жизни объединяет их со всеми остальными социологами, но их положение в системе разделения труда заставляет заниматься лишь какой-то деталью в строе этой жизни. Такие люди, быть может, тоже в конце концов помогут сделать каждый дом, ферму и лавку более удобным местом для жизни, но пока им практически нечего предложить широкой публике напрямую, а публике им. Их труд, подобно труду ранее описанного типа социологов, должен войти в общее употребление сквозь фильтр соответствующих модификаций, которые этот труд будет постепенно порождать во всех разветвлениях социальной науки и практики. Несколько лет назад мы с другом посетили профессора Вирхова. Мой друг страдал от некоего функционального расстройства и думал, что прославленный патолог пропишет ему какое-то средство лечения. Когда мы объяснили цель нашего визита, Вирхов поднял над головой обе руки в знак протеста: «Да ведь я не выписывал рецепты уже двадцать лет и не отважусь на это сейчас!» И тем не менее в мире нет ни одного хорошо образованного врача или подготовленной сестры, которые за эти двадцать лет получили медицинские дипломы, на чьё поведение в больничной палате не повлияли бы труды профессора Вирхова. Если социологи двух описанных типов реализуют хотя бы часть своих надежд, то их результаты окажутся в аналогичном отношении к социальной практике. Достаточно широко и сильно они будут влиять на общество через практические приложения, осуществляемые работниками других родов занятий.

Кроме вышеперечисленных существуют социологи, которые предпочитают называть себя или психологами, или историками, или экономистами, или политологами, но их истинную классификацию определяет факт, что они, сознательно либо бессознательно, работают со строго социологических позиций. Иные из них откровенно именуют себя

социологами, но работают в основном над психологическими, историческими, политическими, экономическими и прочими проблемами, и всё же всегда руководствуются социологическими принципами организации своей работы. Первая группа особенно интересна учёным, открыто признающим себя социологами, ибо вопреки себе представители этой группы оправдывают аргументацию в пользу социологии. Они более или менее сознательно принимают все принципиальные заявки, выдвинутые социологами. С усердием новообращённых они начинают твердить, что тот аспект социальной деятельности, которому они уделяют основное внимание, можно правильно оценить только при условии его рассмотрения как одного из элементов в контексте всех остальных сторон жизни. А это решающий пункт социологической позиции. Использование его в качестве некоторого корректива к любым обследованиям социальных фактов – это тот предварительный мыслительный шаг, какого социологи требуют прежде всего.

Далее, встречаются социологи, непосредственно заинтересованные в каких-то безотлагательных конкретных улучшениях, скажем, в религии, образовании, индустриальных отношениях, политике, криминологии или благотворительности. Они хотят немедленно выяснить, что и как надо делать для этого. Они желают усовершенствований во всём, что составляет полноту жизни, и выбирают для приложения своих специальных усилий какую-то определённую область практической деятельности. Этот вид социологов по многим своим чертам сильно отличается от социологов первого и второго видов. Но общее родовое свойство всех упомянутых типов социологов таково, что они делают свою работу с позиций и в духе вышеописанного подхода. Генерализующий социолог производит свои обобщения в конечном счёте с оглядкой на все конкретные случаи, имеющие к ним какое-то отношение, а конкретный социолог осуществляет свои конкретные детализации с учётом всех общих истин, что сумели сформулировать социальные философы.

Конечно, возможны подделки под каждый из этих типов социологов, но то же самое верно для всех специалистов. В этой стране не существует патентования научных званий. Любой акробат на проволоке и любой оператор мозолей волен нарекать себя «профессором». Каждый заклинатель змей или гадалка могут заполучить звание «психолога». Каждый торговец панацеями для изничтожения правительственной коррупции может прославиться как «деятель политической науки». Каждый изобретатель универсального средства для искоренения нищеты может объявить себя «экономистом». И увы!, любой из перечисленных людей, если это лучше тешит его фантазию, может рекламировать себя в качестве «социолога». Вероятно, пройдёт много времени, прежде чем обыкновенная публика или даже все президенты колледжей научатся правильно проводить границы между дутыми и подлинными социологами, подобные границам, разделяющим шарлатанов и настоящих научных работников в более старых профессиях. А пока наша задача – работать согласно нашим же собственным научным стандартам и заставить качество нашей работы говорить само за себя, помогая отличать социологию от подделок под неё.

В пределах каждой из упомянутых групп социологов по мере расширения исследований характерных для них проблем методы должны быть такими же критическими, результаты относительно настолько же заслуживающими доверия, как и в любой более старой науке. Утверждать или подразумевать обратное было бы провинциализмом, от которого учёные в других областях знания всё сильнее хотят избавиться.

Вышеуказанные публичные дискуссии подняли ещё одну проблему, заслуживающую внимания. Некоторые из наиболее умных редакционных статей о работе социологов энергично порицали жаргон, на котором социологи выражают свои мысли. Их авторы жаловались, что социологи используют язык, который обыкновенные люди не понимают. Редакторы нашего *ЖУРНАЛА* часто получают письма читателей с теми же жалобами. Надо думать, что в этих упреках есть доля справедливости, однако есть и другая сторона медали, которую непрофессионалы недооценивают, но относительно которой профессиональные исследователи не должны позволять сбивать себя с толку. Научная дискуссия никоим образом не сводится просто к задачам риторики и к выразительному изложению чего-то

готового. Часто она бывает существенной частью процесса получения, выработки того, что надо выразить. В ней пробуют определить новую реальную область деятельности там, где непрофессионал даже не подозревает о существовании какой-то проблемы. В ходе такой дискуссии рискуют выдвигать и испытывать на прочность тезисы, отражающие атаки компетентных критиков. В ней возможны гипотезы, нуждающиеся в проверке, и предварительные обобщения. Хотя бы потому, что она содержит обобщения, будь то обоснованные или вводящие в заблуждение, научная дискуссия выходит за привычные рамки обыденных рассуждений. То есть, и предмет её и суждения о нём выходят за горизонт повседневного умозрения. Следовательно, независимо от точности их выражения в дискуссии, они не дают ясного образа умам, не привыкшим к такому расширению кругозора. Если научные суждения выражать так, что они приобретают больше смысла для непрофессионала, то язык может потерять те самые элементы, которые несут специфический и своеобразный смысл этих суждений для специалиста. Конечно, прямое оскорбление всеведущей демократии – объявлять, что не каждый человек способен быть таким же компетентным специалистом, как любой другой в столь знакомом предмете, как человеческое общество. Конечно, если средний человек не усваивает полного значения какого-то социологического вывода, то это вина социолога, который формулирует его. И тем не менее, довольно долгое время будет необходимо мириться с тем, что люди, действительно продвигающие знание вперёд, продолжат говорить на языке, который ничего или мало что скажет профану. С одной стороны, не дело профана жаловаться на это, а с другой стороны, если профан так поступает, специалист не имеет оснований слишком серьёзно учитывать такие жалобы. Но каковы бы ни были их грехи неудобопонятности, американские учёные повинны в более тяжких грехах из-за неуёмной жажды производить впечатление на публику. Преждевременные игры с идеями ради популярности имеют гораздо более печальные последствия, чем таинственная техничность языка. Ведь в конце концов научные задачи исполняются быстрее и лучше, если учёные общаются исключительно с людьми своего научного ранга, пока убеждая только друг друга, что им есть чем обмениваться. Поэтому мы имеем достаточно времени, чтобы избавиться от технических излишеств и запустить новое знание в общий оборот.

Действительно опасные преступления, совершаемые от имени социологии, – это подстрекательские призывы в форме, находящей быстрый отклик в массовом чувстве, когда за этими высказываниями нет настоящего знания о жизни общества. Они передают другим людям определённые впечатления, но это – попросту безрассудно неосторожные воззвания к предрассудкам. Серьёзная социология строит обдуманнные планы дискредитировать такие призывы и найти достаточное основание для общественного мнения в комплексном анализе социальных фактов. Детали этого анализа не предназначены массе. Они покажутся ей академичными и педантичными. Без сомнения, они и будут такими в значительной степени, как это было в истории почти всех других областей знания. Но в итоге здоровое неразрушительное знание распространится скорее и прочнее путём обсуждения нерешённых проблем на техническом языке науки, чем парадом упрощений, которые соблазняют публику думать, будто открытые вопросы закрыты и ответы найдены.

Острота нужды в профессионализме варьирует в разных подразделах социологии. Наиболее велика она среди социологов первых двух названных типов и наименьшая в четвёртой группе. Вероятно, представители последней меньше раздражают публику чрезмерной непонятностью своих терминов, чем скромностью своих выводов. Публика нетерпеливо жаждет того, чего никогда не сможет дать ей серьёзный социолог. В обществе всегда есть спрос на свежие лекарства от социальных болезней при относительно вялом интересе к социальной гигиене. Любой мог бы запросто прославиться как социальный пророк, обнародовав план, как покончить с правительством. Если же кто-то просто укажет практически реализуемый путь улучшения работы правительства, то прежде чем его услышат, может быть упущено время целого поколения. В любой момент привлечёт широкое внимание новый способ уничтожить частную собственность. Но осуществимый

план более справедливого налогообложения потребовал бы долгой и бессмысленной борьбы только за возможность объяснить его. Крестовый поход за сокрушение «трестов» всегда популярен и никогда не испытывает недостатка в сочувствующих наблюдателях этой забавы. Серьёзный анализ проявлений несправедливости и своекорыстия в деятельности корпораций и предложения оздоровительных мер публика встречает в лучшем случае безразличием, а как правило – оскорбительным пренебрежением. Тот, кто обещает покончить с преступлениями, если только общество примет социализм, слывёт государственным деятелем и провидцем среди людей, всегда готовых принимать визионерские обещания за чистую монету. Человек, предлагающий вполне доступные средства устранения обстоятельств, провоцирующих к преступлениям, или профилактического обезвреживания преступных наклонностей прежде чем станет слишком поздно, проповедует чересчур общие места, чтобы увлечь радикальное воображение. На одного думающего найдутся тысячи людей, готовых клонуть на очередные универсальные рецепты всеобщего счастья. Социолог, который вместо угождения требованиям прописать быстродействующие и всеизлечивающие лекарства от социальных болезней призывает публику думать, обрекает себя на долговременную изоляцию.

Заключительная рекомендация для ответственных социологов сводится к тому, что когда мы достигаем результатов, которые созрели для массового потребления, наш долг распространять эту новость как можно шире и самым простым и доступным языком. С другой стороны, хотя социология никому не нужна, если она не способна чем-то обогатить со временем жизнь среднего человека, пока нашей главной задачей остаётся разработка правильных и точных формулировок социальных проблем и обоснованных методов их решения. Нас не должны отвлекать от этого ни шумные требования быстрых результатов, ни невежественные ложные представления о наших целях. Наше главное дело – изучать общество методами, которые опробованы и одобрены компетентными судьями.

Худший враг социологов – это отсутствие научного терпения. Жажда известности без какого-либо вклада в развитие знания – вот клеймо псевдоучёного. Подлинное исследование, каким бы медленным и долгим ни был процесс достижения результатов и каким бы мелким ни был результат в каждом конкретном случае, в своё время заслужит признание и справедливую оценку настоящих социологов, как и всех других работников на ниве науки.

Перевод с английского А.Д. Ковалёва

Гарольд Гарфинкель

Концепция и экспериментальные исследования «доверия» как условия стабильных согласованных действий^{*1}

Аннотация. В статье рассматривается проблема доверия как одного из конstitutивов повседневной жизни. Доверие определяется как согласие с конstitutивным порядком событий деятельности. На основе исследования игр автор формулирует проблему согласования действий обычных членов общества в контексте ожиданий, обеспечивающих взаимопонимание. При помощи процедуры экспериментального продуцирования замешательства демонстрируется, что участники обыденных ситуаций деятельности ориентируются на воспринимаемо нормальные свойства ситуаций повседневной деятельности.

Ключевые слова. Доверие, установка повседневной жизни, конstitutивный порядок событий, нарушение ожиданий, замешательство, согласованные действия, базовые правила игры, этнометодология

Объясняя устойчивость и преемственность черт согласованных действий, социологи обычно выбирают некоторую совокупность стабильных черт организации деятельности и пытаются выявить переменные, способствующие их стабильности. Более экономичной была бы альтернативная процедура: начать с системы, обладающей стабильными чертами, и попытаться выявить, что можно сделать, чтобы создать затруднение. Операции, которые необходимо выполнить для производства и сохранения аномийных черт воспринимаемых сред и дезорганизованного взаимодействия, должны рассказать нам кое-что о том, как обыденно и рутинно поддерживаются социальные структуры.

Точка зрения

Решение Парсонса [21] инкорпорировать всю общую культуру целиком в суперэго имеет в качестве своего очевидного интерпретативного следствия то, что способ организации системы действий есть ни что иное, как способ производства и поддержания ее организационных характеристик. Такие структурные феномены, как распределение доходов и рода занятий, семейные связи, классовые страты и статистические свойства языка, являются эмерджентными продуктами обширной коммуникативной, перцептивной, мыслительной и прочей «приспособительной» работы, когда люди — согласованно и

* *Garfinkel H. A conception of, and experiments with, «trust» as a condition of stable concerted actions // Motivation and Social Interaction: Cognitive Determinants / Harvey O. J. (Ed.). New York: Ronald, 1963. P. 187–238.*

© Корбут А., 2009.

© Центр фундаментальной социологии, 2009.

¹ Настоящее исследование поддержано научно-исследовательским грантом SF-81, предоставленным Министерством здравоохранения. Особая благодарность д-рам Эгону Биттнеру, Аарону В. Сикурелю, Ирвингу Гофману, Генри У. Рикену-младшему, Эдварду Р. Роузу и Элеаноре Б. Шелдон за любезно высказанные критические замечания и предложения.

сталкиваясь «изнутри общества» со средами, в которые общество их помещает, — создают, поддерживают, восстанавливают и изменяют социальные структуры, представляющие собой сборные продукты темпорально протяженных способов действия, направленных на эти среды, какими люди их «знают». Одновременно эти социальные структуры являются условиями согласованного управления людьми данными средами².

Эту концепцию можно также сформулировать в виде нескольких правдоподобных допущений, лежащих в основе излагаемой здесь программы.

1. Организационные и операциональные черты согласованных действий в значительной степени определяются тем, что работники системы рассматривают в качестве актуальных и потенциальных проявлений воспринимаемо нормальных событий их межличностных сред и отношений взаимодействия.

2. Человек реагирует не только на воспринимаемые поступки, чувства, мотивы, взаимоотношения и иные социально организованные черты окружающей его жизни, но, что более релевантно для целей настоящей программы, и на воспринимаемую нормальность этих событий. Под «воспринимаемой нормальностью» событий я имею в виду *воспринимаемые формальные* черты, которыми обладают для воспринимающего средовые события как случаи определенного класса событий, т. е. *типичность*; их «шансы» произойти, т. е. *вероятность*; их *сопоставимость* с прошлыми или будущими событиями; условия их появления, т. е. *каузальную текстуру*; их место в совокупности связей «средства—цели», т. е. *инструментальную эффективность*, и их необходимость в соответствии с естественным или моральным порядком, т. е. *моральную требуемость*.

3. В случаях расхождений между ожидаемыми и актуальными событиями люди предпринимают соответствующую перцептивную и мыслительную работу, посредством которой такие расхождения «нормализуются». Под «нормализацией» я подразумеваю восстановление воспринимаемо нормальных показателей типичности, сопоставимости, вероятности, каузальной текстуры, инструментальной эффективности и моральной требуемости.

4. Случаи «неприятного сюрприза», как и работа по нормализации, не возникают ни идиосинкратически, ни независимо от рутинизированных социальных структур группы. Такие случаи и такая работа не только определяются рутинизированными структурами, но и определяют их.

5. Устойчивость, преемственность, воспроизводимость, стандартизация, единообразие социальных структур — т. е. их «стабильность» во времени и при смене действующих работников — являются эмерджентными продуктами тех воспринимаемо нормальных показателей межличностных событий, которые члены группы пытаются поддерживать своими приспособительными действиями.

6. Для соотнесения, с одной стороны, стабильных черт социальных структур и, с другой, восприятия межличностных сред «изнутри», рекомендуется использовать две теоремы, которые эксплицируются систематической теорией Парсонса [23]: а) социальные структуры *заключаются* в институционализированных паттернах нормативной культуры; б) стабильные черты социальных структур как сборок согласованных действий гарантируются мотивированным согласием с легитимным порядком.

Наша задача — выяснить, что необходимо, чтобы создать для членов группы, обладающей стабильными чертами, воспринимаемую среду событий, являющуюся «специфически бессмысленной». Данный термин, заимствованный у Макса Вебера [1], обозначает события, которые воспринимаются членами группы как нетипичные, каузально

² Эту доктрину иллюстрирует прекрасный рассказ Роберта М. Коутса «Закон» [16, р.41]. Однажды приятным весенним вечером у въезда на мост Триборо со стороны Манхэттена образуется огромная пробка, тянущаяся через весь остров. Водители пытаются выяснить друг у друга, чем вызван затор, но никто ничего не знает. По словам Коутса, в эту ночь «пал закон средних чисел». В тот вечер все автовладельцы Манхэттена вдруг решили, что было бы неплохо прокатиться на Лонг-Айленд.

неопределенные и произвольно возникающие, а также лишённые релевантной истории или будущего, средственного характера либо моральной необходимости.

В идеальном случае, т. е. в соответствии с такой теорией социальной организации, которую предлагает Дюркгейм [2], поведенческие состояния, сопровождающие воспринимаемые среды с подобными свойствами, состояли бы в полном прекращении деятельности. По мере приближения к этому идеальному конечному состоянию должны наблюдаться такие формы поведения, как замешательство, нерешительность, внутренний конфликт, огромное неудобство, психосоциальная изоляция, общая острая тревога, утрата идентичности и различные симптомы деперсонализации. Словом, должно наблюдаться то, что Пол Шилдер [24] блестяще назвал «амнезией социальной структуры». Дезорганизованные черты социальных структур должны варьироваться соответствующим образом. Тяжесть этих эффектов должна варьироваться в прямой зависимости от осуществимой приверженности людей, т. е. от тех условий, которые гарантируют мотивированное согласие с легитимным порядком. Подобная приверженность представляется изнутри как схватывание и принятие «естественных фактов жизни в обществе». Поскольку с точки зрения члена общества эти «естественные факты жизни», т. е. общая культура, описываются как мир, известный и принимаемый на веру сообщая с другими членами, тяжесть данных эффектов должна варьироваться независимо от личностных характеристик, как они трактуются и определяются в большинстве общепринятых инструментов оценки личности.

Разрабатывая программу, лежащую в основе настоящей статьи, я исходил из того, что в ходе осуществления рутинизированных действий аномийные состояния преходящи, непродолжительны и неравномерно распределены как в биографии взаимодействий отдельного человека, так и среди социальных структур. Я пытаюсь найти операции, которые будут повышать и регулировать частоту и длительность подобных состояний таким образом, чтобы их появление можно было убедительно зафиксировать с помощью грубых методов непосредственного наблюдения.

Что можно сделать со сценой событий, чтобы создать для человека ситуацию, в которой он был бы неспособен «схватить», что происходит?

Использование понятия «доверие»

Я воспользуюсь привилегией теоретика и буду говорить, что осмысленные события есть целиком и исключительно события в поведенческой среде человека, определяемой по Халлоуэллу [17]. Поэтому совершенно незачем заглядывать внутрь черепной коробки, так как там нет ничего интересного, кроме мозгов. «Кожа» человека останется в целостности и сохранности. Вместо этого вопросы будут ограничиваться операциями, которые можно предпринять в отношении событий, являющимися для человека «сценическими». Для обнаружения событий, которые должны быть изменены, чтобы вызвать аномийные состояния, я обратился к феномену доверия. Сначала я рассмотрю игры. На основе анализа их правил будет разработано понятие «конститутивного порядка событий» игры. Согласие с этим порядком будет предложено в качестве общего определения термина «доверие». Далее я подкреплю эту концепцию, изложив некоторые данные, касающиеся игры в крестики-нолики. После ряда надлежащих критических замечаний относительно использования игр я перенесу то, что мы выяснили о доверии как условии «схватывания» событий игр, на случай доверия как условия «схватывания» событий повседневной жизни. Затем будут изложены предварительные результаты в поддержку и критику этой концепции.

Базовые правила как определения составных событий игры.

Я хотел бы начать с такой стабильной ситуации, как игра. Игра выбрана потому, что ее базовые правила служат для каждого игрока схемой опознания и интерпретации как принадлежащих другим игрокам, так и своих собственных поведенческих проявлений в качестве событий игрового поведения. Базовые правила игры определяют ситуации и нормальные события игры для людей (*игроков*), которые стремятся действовать в соответствии с ними.

Изучение правил той или иной игры, например, бейсбола, шахмат или любой другой, описанной в книге игр, позволяет выделить один набор правил этой игры, отличающихся от всех прочих тем, что они демонстрируют следующие три свойства.

1) С точки зрения игрока, они очерчивают набор альтернативных площадок игры, числа игроков, последовательностей ходов и т. п., выбор которого игрок ожидает независимо от своих желаний, обстоятельств, планов, интересов или последствий выбора для него самого или для других.

2) Игрок ожидает, что тот же самый набор требуемых альтернатив обязателен для другого игрока так же, как он обязателен для него.

3) Игрок ожидает, что так же как он ожидает вышеуказанное от другого человека, так и другой человек ожидает это от него.

Назовем эти три свойства *конститутивными ожиданиями*.

Некоторые определения и замечания

1. Указанные три свойства конституируют набор правил, за которыми они закреплены. Назовем набор таких правил *базовыми правилами*. Например, базовые правила крестиков-ноликов таковы: игра ведется на поле размером три на три клетки двумя игроками, которые ходят поочередно. Первый игрок ставит значок в одну из незанятых клеток. Затем второй игрок ставит свой значок в одну из оставшихся незанятой клеток. И так далее. Термин «игрок в крестики-нолики» обозначает человека, который старается действовать в соответствии с этими возможными событиями как конститутивно ожидаемыми.

2. Конститутивные ожидания можно приписать любому числу игроков, последовательностям ходов, площадкам игры и т. п. Я буду называть тот факт, что три конститутивных ожидания приписываются некоторому конкретному набору возможных событий и не приписываются другим, *конститутивным акцентом* событий, которым они приписываются.

3. Назовем *взаимосвязанный* набор возможных событий, которому приписываются конститутивные ожидания, *конститутивным порядком событий* игры.

4. Фон Нейман и Моргенштерн [3] отмечают, что игра определяется путем перечисления ее базовых правил. С нашей точки зрения, игра определяется путем перечисления ее базовых правил, за которыми закрепляются конститутивные ожидания. Помимо базового правила существуют по крайней мере три другие черты, необходимые для описания игры как нормативного порядка или распорядка: а) оговорка «и так далее», б) означенный набор правил *предпочтительной* игры и в) означенный набор «предоставляемых игрой» условий. Кроме того, есть еще две черты, которые описывают игру так, как люди реально в нее играют: а) «надежность» этого распорядка, т. е. вероятность того, что люди будут действовать в мотивированном согласии с данным распорядком и б) неигровые условия, которые, в чем бы они ни состояли, определяют вероятность мотивированного согласия.

5. Конститутивный акцент может быть снят с одного набора возможных событий и приписан другому. Эта операция создает новую игру. Например, базовое правило крестиков-ноликов предусматривает, что первое выставление «трех значков в ряд» является победой и оканчивает игру. Если это правило изменяется таким образом, чтобы предусматривать в качестве конститутивной возможности, что победой является выставление трех значков в ряд

только на *четвертом* ходу игрока или после него (и если делается оговорка, что игроки используют только три значка, которые они могут стирать по одному за раз и переставлять в незанятую клетку), получающаяся в итоге игра известна как «нолики-крестики». Точно так же в шахматах конститутивный акцент приписывается возможности того, что фигуры сохраняют свой цвет на протяжении игры. Предусмотрев, что, пока игрок делает выбор, может быть объявлено, что заранее оговоренная комбинация фигур противника изменила цвет, Ф. Р. Клинг изобрел «шахматы с изменниками» [19].

б. Правила, остающиеся после того, как были опознаны базовые правила, могут быть исключительно первого или второго из двух типов. Это либо правила *предпочтительной игры*, либо *предоставляемые игрой условия*. Правила предпочтительной игры отличаются от базовых правил тем, что тот или иной выбор альтернативных площадок, последовательностей игры, числа фигур, числа игроков — т. е. *любые* возможности, включая те, которые в «другой игре» могли бы быть конститутивными для этой игры, — трактуется как относящийся к свободному праву игрока соглашаться с ним либо нет, исходя из любых определений «правильной процедуры», которыми он мог бы воспользоваться, например, соображениями полезности, эффективности, эстетической предпочтительности, общепринятой игры, традиционной игры и пр. Возможности, с которыми могут иметь дело правила предпочтения, обеспечиваются базовыми правилами. Например, то, что в шахматах при первом ходе белых можно пойти любой пешкой или конем и никакими другими фигурами, предусматривается базовыми правилами шахмат. Однако какую именно из этих альтернатив может выбрать игрок — решает сам игрок. За исключением того, что правила предпочтения должны иметь дело с возможностями, которые предусмотрены базовыми правилами, определения правильной игры, предусмотренные правилами предпочтения, совершенно не обязаны подчиняться базовым правилам.

Если базовые правила предоставляют определяющие критерии законной игры, то правила предпочтительной игры предоставляют определяющие критерии эффективной, или эстетичной, или общепризнанной, или, в определенном случае, слабой игры, если игрок пытается играть слабо. Решения, принимаемые игроком, *должны* удовлетворять базовым правилам и *будут* удовлетворять *некоторому* набору правил предпочтения. Разумеется, набор правил предпочтения может включать самые причудливые сочетания эффективности, эстетической правильности, общепризнанности и т. п. Базовые правила и правила предпочтения служат условиями, которым должен, либо будет удовлетворять тот или иной выбор игрока.

Помимо этих условий существуют еще некоторые дополнительные условия, которым должны удовлетворять его решения. Эти дополнительные условия, однако, *не* являются критериями, определяющими правильность решения, и не предусматриваются базовыми правилами или правилами предпочтения. Тем не менее в действительности решения игрока будут неизбежно ими ограничиваться. Эти условия обладают следующими чертами: а) они описывают характерные черты осуществления игры; б) они независимы от шансов игрока на успех или неудачу в игре; в) они инвариантны по отношению к изменяющимся состояниям игры в том смысле, что выступают условиями принятия им решений в любой ситуации, в которой должно быть принято решение; г) они остаются в силе лишь постольку, поскольку игрок трактует базовые правила игры в качестве максим своего собственного поведения и поведения своего противника, т. е. они остаются в силе постольку и лишь постольку, поскольку человек соотносит свои действия и действия других игроков по определению и интерпретации с нормативным порядком возможных событий, определяемым базовыми правилами игры.

Каждому набору базовых правил игры соответствует специфический набор предоставляемых игрой условий. В шахматах примером предоставляемых игрой условий является то, что любая ситуация игры является ситуацией с полной информацией, или что любое текущее состояние игры изменяется по принципу «все или ничего» в зависимости от актуальной игры и никогда — от предполагаемой игры. В этом и других отношениях

кригшпиль* отличается от шахмат; например, в нем игровые ситуации являются ситуациями с неполной информацией, а текущее состояние игры может изменяться в зависимости от предполагаемой игры³.

7. С точки зрения теоретика, существует интерпретативное правило, заключающееся в том, что всякие и любые игровые события являются элементами набора конститутивных или предпочтительных возможностей либо набора предоставляемых игрой условий. Сказать, что конститутивный акцент был «снят» с определенного набора событий, синонимично утверждению, что эти события были включены в набор предпочтительных возможностей. И наоборот, сказать, что события были исключены из набора предпочтительных возможностей, неизбежно означает, что они стали элементами набора конститутивных возможностей. Ситуация, когда все возможности являются конститутивными, так что набор предпочтительных возможностей пуст, определяет церемониализованную игру⁴. Говорить о наборе конститутивных возможностей как о пустом, одновременно подразумевая игру, — формальный нонсенс⁵.

8. Будем говорить, что люди *доверяют* друг другу, если их трактовки межличностных сред — игровых или любых иных — регулируются конститутивными ожиданиями.

9. Понятие доверия связано с понятием воспринимаемо нормальных сред следующим образом. Говорить, что один человек «доверяет» другому, значит утверждать, что этот человек старается действовать так, чтобы производить своими действиями или учитывать в качестве условий игры актуальные события, которые соответствуют нормативным порядкам событий, отображенным в базовых правилах игры. Иными словами, игрок принимает на веру базовые правила игры как определение своей ситуации, а значит, безусловно, и как определение своих взаимоотношений с другими.

Воспринимаемо нормальные среды игровых событий

Теперь необходимо упомянуть еще несколько черт базовых правил, чтобы показать, что события, отображаемые в базовых правилах игры (т. е. конститутивный порядок игровых событий), предоставляют человеку, который старается действовать в согласии с этими базовыми правилами, определение нормальных событий ведения игры.

1. События, отображаемые базовыми правилами, являются категорическими возможностями. По сути они определяют среду игровых событий как область возможных наблюдаемостей, которые, подобно событиям идеализированного эксперимента, описываемого Феллером [4] при обсуждении пространства выборов, представляют собой правила релевантности, посредством которых опознаются существенные черты конкретных

* Кригшпиль — разновидность шахмат, предполагающая игру вслепую: игроки не видят фигур соперника, о которых они узнают в результате своих ходов. Своего рода «морской бой» с помощью шахмат. — *Прим. перев.*

³ Эти отличия показательны, но не определяющие. Определяющим образом тема предоставляемых игрой условий рассматривается в ряде неопубликованных работ автора, в частности, в главе 5 «Руководства по Парсонсу» и в главе 6 «Очерков по этнометодологии».

⁴ Условия церемониализованной игры в шахматы были бы соблюдены, если бы два человека, А и Б, согласились играть и играли бы следующим образом. Перед началом игры А и Б договариваются, что когда А сделает, скажем, ход КР-К4, Б сделает ход QR-Q3, затем А сделает ход QR-Q4, в ответ на что Б сделает ход КР-К4, после чего А сделает ход X, а Б в ответ — ход Y, затем А пойдет так-то и так-то, а Б, в свою очередь, — так-то и так-то, и так далее до тех пор, пока не будет оговорено построение всей игры. Затем А и Б договариваются трактовать условленную программу как набор базовых правил. Единственная оставшаяся неясность заключалась бы в том, будут ли они в своей актуальной игре придерживаться этого договора. Поочередные чтения в церкви напоминают такого рода церемониализованную игру.

⁵ Под формальным нонсенсом имеется в виду то, что можно говорить об игре, не содержащей никаких конститутивных правил, однако в результате происходит рядоположение терминов, каждый из которых имеет свое собственное значение, но объект, подразумеваемый этими терминами как спецификациями данного объекта, не поддается схватыванию. С тем же результатом можно говорить и о круглом квадрате, или о треугольнике, сумма углов которого больше суммы трех прямых углов, или о холодильнике, лишенном вместимости, или о звуке, имеющем интенсивность и амплитуду, но не имеющем длительности.

актуальных наблюдений. События, предусматриваемые базовыми правилами, являются подразумеваемыми событиями и очерчивают сущностное единообразие всех актуальных наблюдений, которые можно поместить под юрисдикцию подразумеваемых событий в качестве конкретных случаев подразумеваемых событий.

2. Как категорические возможности, события, предусматриваемые базовыми правилами, обладают свойством оставаться инвариантными по отношению к меняющимся актуальным состояниям игры.

3. Будучи инвариантными по отношению к актуальным способам ведения игры, эти ожидаемые единообразия выступают стандартами, т. е. определениями правильной игры. Тем самым они служат основанием для опознания странного хода, т. е. хода «вне игры».

4. Помещение актуальных наблюдений под юрисдикцию подразумеваемых наблюдений, предусмотренных базовыми правилами, — это вопрос процедур обоснования притязания на то, что актуальные-наблюдаемые-проявления-объекта и объект-подразумеваемый-конкретными-актуальными-проявлениями соответствуют друг другу. Проблематичный характер этого соответствия заключается в предусматривании правил, посредством которых относительно первых и второго, фактически находящихся в отношении обозначения, т. е. знаковом отношении, можно решить, в чем заключается это отношение обозначения. Например, является ли знаковое отношение отношением метки, знака, символа, индекса, иконы, документа, тропа, глоссы, аналогии или свидетельства? Или является ли актуальное наблюдение вообще событием «в игре»?

Базовые правила обеспечивают решение проблемы юрисдикции, предусматривая смысл «адекватного опознания» актуальных проявлений как опознанных проявлений-объекта. Специфицируя область возможных игровых действий, базовые правила определяют область «возможных игровых действий», которым можно приписать переменную «простых поведенческих актов»⁶. Базовые правила очерчивают набор возможных событий игры, которые могут обозначаться наблюдаемыми поведенческими актами.

К примеру, игроки в бридж реагируют на действия друг друга как на события бриджа, а не как на поведенческие события. Они не истолковывают тот факт, что другой игрок достает карту из своей руки и опускает ее на стол, как событие «выкладывание игровой карты» или «осуществление перемещения карты». Вместо этого посредством перемещения карты игрок сигнализирует, что «сыграл тузом пик как первой картой взятки». С точки зрения игрока, вопрос «Что действительно может произойти?» получает правильное решение в рамках базовых правил.

5. Каждый особый набор базовых правил определяет особую область возможных игровых событий, в соответствии с которой может быть приведено внешне идентичное поведенческое проявление.

6. С точки зрения игрока, в рамках этих правил правильное решение получает, что касается игрока, не только вопрос «Что может произойти?», но и вопрос «Что произошло?». Базовые правила служат терминами, при помощи которых характер событий игры не только *может* опознаваться, но и, что касается игроков, *обязан* опознаваться. В более общем смысле они служат набором presuppositions — названным Шюцем [13] «схемой интерпретации и выражения» игрока, — благодаря которым собственное поведение игрока, а также поведение другого человека идентифицируются игроком как *данные о действии*.

Это свойство можно представить в общей форме в виде следующей теоремы. Правильность соответствия знака референту устанавливается исходя из допускаемого конститутивного порядка, который определяет «правильное соответствие».

То, что верно для отношений знак—референт, верно и для отношений между термином и словом, термином и понятием, фонемой и лексемой, словом и значением, поведением и действием, предложением и пропозицией, проявлением и объектом. Все эти пары формально

⁶ Под «простыми поведенческими актами» я имею в виду все события внешнего поведения, рассматриваемые исходя из их определения как «изменений положения тела в системе физических координат».

эквивалентны. Поведение обозначает действие в рамках допускаемого нормативного порядка.

Последние соображения можно резюмировать следующим образом: базовые правила придают поведению *смысл* действия. Они представляют собой термины, с помощью которых игрок решает, правильно ли он определил «Что произошло?». За счет этих правил за поведением «закрепляется» «субъективное значение».

В той мере, в какой игрок соотносит с другими игроками правильность своих решений относительно значений правил как значений, известных сообща с ними, мы можем говорить об объективном характере правил и, тем самым, об *объективном* характере игровых событий. В той мере, в какой игрок соотносит правильность своих решений относительно значений правил с персональными (своими или выдвигаемыми другими игроками) интерпретациями правил, мы можем, вслед за Кауфманом [18], говорить о *субъективном* характере правил и, тем самым, о субъективном характере игровых событий.

7. Для человека, старающегося соответствовать конститутивному порядку игры, действие — достаточно *одного*, — которое нарушает базовые правила, специфически неуместно, и его *возникновение препятствует игре как порядку действий*.

А) Действие, которое идет вразрез с тем, что предписывают базовые правила игры, специфически бессмысленно, т. е. приобретает *воспринимаемые* свойства непредсказуемости, произвольности, неопределенности, отсутствия каузальной текстуры, средственного характера и моральной необходимости. О человеке, чья поведенческая среда событий демонстрирует эти свойства, мы говорим, что он «в замешательстве». В поведенческом плане мы должны ожидать, что он будет действовать так, как было описано в начале настоящей статьи.

Б) Свойством действия, нарушающего конститутивное ожидание, является то, что игрок не может опознать это действие, не сменив «конститутивный акцент», которым наделяются события игры, т. е. не сделав их предпочтительными. Например, рассмотрим конститутивный порядок последовательной игры в «крестики-нолики»: А, Б, А, Б... Игрок Б мог бы пойти А, Б, Б, Б. Когда конститутивный порядок предусматривает, что игроки делают ходы в последовательности А, Б, А, Б, А..., предусматривается ожидание того, что нормативная последовательность соблюдается и что актуальная последовательность производится независимо от мотивов, желаний, расчетов выгоды и т. п. игрока. Игрок, делающий свой ход «вне очереди», т. е. А, Б, Б., предъявляет своему противнику неуместную возможность того, что последовательность А, Б, А, Б, А... отдана на личное усмотрение игрока.

В) Беспорядок заключается в следующем: действие, нарушающее базовое правило, побуждает трактовать это действие в качестве конститутивного для порядка игры. Однако приписывание ему конститутивного акцента синонимично преобразованию правил игры. Говоря социологическим языком, оно побуждает к переопределению «социальной реальности» или же «нормальной игры».

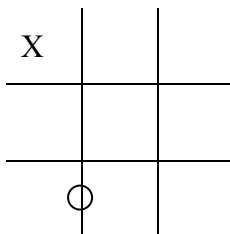
8. Даже при однородности и определенности поля физических стимулов поле игровых событий может быть лишено смысла.

Здесь может помочь различие двусмысленности и бессмысленности. Говоря, что поле *игровых событий* становится двусмысленным, я имею в виду, что распределение ставок игрока насчет «того, что произошло» среди набора альтернативных возможностей становится более равновероятным.

Под состоянием бессмысленности поля игровых событий имеется в виду то, что игрок не располагает схемой возможностей, соответствие с которой поля физических стимулов можно установить. В случае двусмысленного поля игровых событий человек не способен решить, какую из набора альтернатив игрок имел в виду в своем ходе или высказывании. В бессмысленном поле человек, хотя и слышит высказывание, произнесенное на четком и правильном английском языке, не опознает его как высказывание по-английски. Что верно для высказывания, верно и для любой другой формы поведения, поскольку отношение

знак—референт, применимое к отношениям между высказываниями и пропозициями, в равной степени применимо к отношениям между поведением и действием.

Разницу между двусмысленностью и бессмысленностью можно проиллюстрировать с помощью следующей процедуры. Испытуемых приглашали сыграть в крестики-нолики. После того как испытуемый делал свой ход (X), экспериментатор делал свой ход (O) следующим образом:



В некоторых случаях испытуемые реагировали упреками в адрес экспериментатора: «Не дури. Ставь свой значок в клетку». В некоторых случаях, однако, испытуемые реагировали вопросом: «Ты во что играешь?»

9. Если игрок придерживается конститутивного порядка игры, знание игрока о том, что было нарушено базовое правило, не ослабляет аномийные эффекты нарушения базового правила.

10. Независимо от того, какие возможные события специфически предусматриваются правилом, — специфицируют ли они девять клеток в крестиках-ноликах, 64 позиции в шахматах, пять карт на руках в покере, скрытые доски в кригшпиле и т. п., — три определяющих свойства базовых правил инвариантны для актуального содержания правил.

Эта особенность ведет к двум важным последствиям. А) в отношении вопроса о том, что следует предпринять для производства замешательства, она позволяет нам распознать в различных полях игровых событий, т. е. в различных играх, те события, нарушение которых будет вести к идентичным последствиям, т. е., хочется надеяться, к замешательству. Б) условием замешательства является то, что участники должны быть обоюдно идентифицированными членами одного и того же сообщества, т. е. должны рассматривать друг друга как людей, предположительно связанных одним и тем же конститутивным порядком действий — «играющих в одну и ту же игру».

11. Набор «Все базовые правила» определяет игру. Из этого свойства вытекают важное следствие и важная задача. А) важное следствие состоит в том, что конститутивные структуры причастны ко *всем* игровым событиям. Б) важная невыполненная задача состоит в исследовании логических свойств набора «Все базовые правила» игры.

Каждый из этих пунктов требует дополнительных комментариев.

А) *Важное следствие.* Концепция о том, что конститутивные структуры причастны ко всем игровым событиям, отличается от общепринятых социологических концепций правил действия. Согласно современным социологическим представлениям, правила действия классифицируют действия как разрозненные наборы. Например, события поведения, отражающиеся в правиле запрета на инцест, являются частью «нравов». Правила, предписывающие распределение домашних обязанностей, являются частью «обычаев». Инструкции, сопровождающие комплект радиодеталей, являются техническими правилами. Эмили Пост описала правила этикета.

Вследствие подобных представлений все современные концепции условий социального порядка делают акцент на степени сакрального отношения к правилам как решающем условии стабильного социального порядка. Однако если бы конститутивные свойства событий не ограничивались играми, тогда пришлось бы допустить, что единообразие событий, отражающихся в нравах, обычаях и т. п., достигается благодаря набору «более фундаментальных» пресуппозиций, в соответствии с которыми поведенческие случаи воспринимаются акторами в качестве случаев *подразумеваемых* действий, которые, как

полагает член группы, «может увидеть каждый». Отсюда непосредственно вытекает ряд соображений, которые, поскольку они не вписываются в современные представления, намечают перспективу решающего эксперимента. Альтернативные соображения таковы. Если эти конститутивные свойства распространяются на повседневные события, то по отношению к проблематичной связи между нормативной регуляцией действия и стабильностью согласованного действия решающим феноменом выступает не «интенсивность аффекта», «инвестируемого» в «правило», и не авторитетный, сакральный или моральный статус правила, а воспринимаемая нормальность средовых событий, поскольку эта нормальность является функцией пресуппозиций, определяющих возможные события.

Начиная заниматься играми, мы считали само собой разумеющимся, что для игр характерна всеобъемлющая релевантность нормативной регуляции и что именно эту черту часто имели в виду исследователи, например, Хейзинга [5], когда противопоставляли целиком регулируемый и упорядоченный характер игровых событий событиям «серьезной жизни». Однако, применив процедуры индуцирования несоответствия в ситуации «реальной жизни», мы были обескуражены кажущимся бесконечным многообразием событий, способствовавших производству действительно неприятных сюрпризов. Это были самые разные события, начиная с тех, которые, согласно социологическому здравому смыслу, являются «критическими», например, поддержание непринужденной беседы, стоя вплотную к собеседнику, и заканчивая теми, которые, согласно социологическому здравому смыслу, являются «тривиальными», например, произнесение «привет» по завершении разговора. Обе процедуры вызывали тревогу, возмущение, острое переживание (как экспериментатором, так и испытуемым) обиды и горечи, требование объяснений со стороны испытуемых и т. д. Поэтому было выдвинуто предположение, что *все* действия как воспринимаемые события могут иметь конститутивную структуру и что, возможно, именно угроза нормативному порядку событий, а не нарушение «священности» правил является решающей переменной при возникновении возмущения. Эта концепция по меньшей мере правдоподобна, если учесть, что общим фактором как угрозы нормативному порядку событий, так и нарушения священности, является допущение человеком того, что он, как и его партнер, является компетентным членом того же самого сообщества, что напрямую отсылает к трем определяющим свойствам базовых правил.

Б) *Невыполненная задача*. Что касается набора «Все базовые правила», следовало бы выяснить, каковы свойства границ этого набора. Точнее, является ли этот набор целиком упорядоченным или он упорядочен лишь частично? И имеет ли какое-либо значение для осуществления актуальными игроками легитимного ведения опознаваемых игр то, упорядочен этот набор целиком или нет?

Стоит зафиксировать несколько моментов.

Что касается целиком упорядоченного характера, я не смог найти ни одной игры, где заявленные правила были бы достаточны, чтобы охватить все проблематичные возможности, которые могут появиться или которые нельзя было бы, проявив небольшую смекалку, создать в области игры. Например, несмотря на то, что шахматы вроде бы застрахованы от такого рода манипуляций, во время своего хода можно сначала поменять фигуры на доске — так, чтобы, хотя положения фигур в целом не изменились, клетки оказались бы заняты другими фигурами, — а затем сделать свой ход. В нескольких случаях, когда я так поступал, мои противники чувствовали растерянность, пытались меня остановить, требовали объяснить, что я задумал, не были уверены насчет законности моего действия (но, тем не менее, заявляли о его незаконности), давали мне понять, что я порчу им игру, и во время следующего круга заставляли меня дать обещание, что я не буду «на этот раз ничего делать». Они не меняли своего мнения, если я просил указать, в чем именно правила запрещают делать то, что я сделал, или если я говорил, что расположение фигур осталочь прежним и данный маневр никак не повлиял на мои шансы выиграть. Они даже не могли удовлетворительно *для себя* сформулировать, что именно было не так. Пытаясь справиться с

ситуацией, они ссылались на неясность моих мотивов. Один испытуемый отметил, что это напомнило ему то, как играют в баскетбол «Гарлемские путешественники»*, и что он всегда считал их баскетбол ненастоящим.

Я полагаю, что здесь мы оказываемся в области игровой версии «неоговоренных условий договора», которые, возможно, представляют собой еще одно правило, венчающее любой список базовых правил, придавая им статус соглашения между людьми играть в соответствии с ними, — правило, которое превращает данный перечень в соглашение за счет заключительного «напечатанного мелкими буквами» уведомления: «и так далее».

Что касается вопроса о том, имеет ли наличие или отсутствие у базовых правил целиком упорядоченного характера какое-нибудь значение для осуществления опознаваемой игры, то меня поражает, что, хотя правила научного исследования легко сопоставимы с базовыми правилами и правилами предпочтения в играх, во всех научных исследованиях наличествует знание исследователей об условиях, при которых им позволено ослаблять базовые правила и правила предпочтения и при этом все равно претендовать на то, что конечный продукт является адекватным научным решением проблемы исследования. В играх же условия, при которых игроки могли бы ослабить базовые правила и правила предпочтения и при этом все равно опознавать свой способ ведения игры в качестве легитимного, еще нужно отыскать. По крайней мере, до сих пор мне не удалось обнаружить ни одного подобного случая, что странно, если учесть, что смягчающий эффект правила «и так далее» легко различим во всех рассмотренных мной играх.

Наконец, мне не удалось обнаружить ни одной игры, в которой время начала, продолжительность и этапность ходов определялись бы исключительно как вопрос предпочтений игрока.

Если бы оказалось, что границы набора базовых правил принципиально размыты, что степень эксплицитности этих правил не имеет никакого значения, что их набор по сути упорядочен только частично, что каждая игра содержит свои «неоговоренные условия договора» и что время является параметром осмысленности хода, тогда у нас были бы существенные основания для оптимизма. Именно таковы свойства тех ситуаций событий, которые социологи обозначали как «определения ситуаций» «серьезной» жизни акторами и которые были изучены достаточно глубоко, чтобы можно было с уверенностью предположить наличие этих свойств. Это также оставляет открытой чрезвычайно важную возможность того, что конститутивный акцент является неотъемлемой чертой всех событий независимо от того, являются ли они событиями в сферах (Шюц называет их «конечными областями смысла») игры, научного теоретизирования, театра, развлечения, сновидения или чего-либо еще.

Вновь проблема

Независимо от того, что именно могут предусматривать правила в качестве специфически возможных событий, — специфицируют ли они девять клеток в крестиках-ноликах, шестьдесят четыре позиции в шахматах или пять карт на руках в покере, — три конститутивных ожидания инвариантны для актуального содержания правил. Они позволяют нам опознавать в разных играх те события, которые функционально тождественны с точки зрения вопроса о том, что нужно сделать, чтобы произвести замешательство. Следовательно, операция, которая должна производить замешательство в одной игре, будет делать это в любой другой игре. Если конститутивные ожидания действуют и в повседневных ситуациях, тогда операция, которая производит замешательство в одной конкретной обстановке, будет делать это в любой другой конкретной обстановке.

* «Гарлемские путешественники» — основанная в 1927 г. баскетбольная команда, прославившаяся своими шоу-программами, сочетающими мастерское владение мячом и юмор. — *Прим. перев.*

Тем самым действие этих конститутивных ожиданий в играх или в повседневных ситуациях служит важным условием стабильных черт согласованных действий.

Моя цель — показать с помощью экспериментальных демонстраций, что события, нарушающие конститутивные ожидания, умножают аномийные черты среды игровых событий, а также дезорганизованные черты структур игрового взаимодействия; что эти эффекты варьируются в прямой зависимости от степени мотивированного согласия с конститутивным порядком игры; что эти эффекты возникают независимо от личностных качеств игроков и что эти утверждения верны не только для игровых взаимодействий, но и для взаимодействий в «серьезной жизни».

Итак, мы спрашиваем:

1. Является ли нарушение базового правила в игре первостепенной детерминантой аномийных эффектов?

2. Является ли нарушение базового правила в повседневной жизни такой же первостепенной детерминантой?

Изучение базовых правил с использованием крестиков-ноликов

В роли экспериментаторов (Э) выступили 67 студентов-гуманитариев, посещавших некоторые мои курсы. Каждый сыграл в крестики-нолики с тремя или более испытуемыми (И) общим числом 253, включая детей, подростков, молодых людей и взрослых обоих полов. И, состоявшего в разной степени знакомства с Э (от членов одной семьи через различные градации дружбы до совершенно незнакомых людей), просили — после того как он принимал предложение Э сыграть — сделать ход первым. Когда И ставил свой значок, Э стирал его, переносил в другую клетку и ставил свой собственный значок, пытаясь ничем не показать И, что игра каким-либо образом необычна. Э в просили составить подробный поведенческий отчет о том, что делали и говорили И'е, а также узнать у И'х — и сообщить относительно себя, — какие чувства они испытывали, когда их пригласили сыграть, когда был сделан неправильный ход, на протяжении всей игры и после ее окончания. 67 Э в сообщили о 253 случаях игры.

Процедура подсчета. Все Э'ы, которых попросили сообщить о поведении И'х сразу после хода Э, пользовались стандартной формой отчета.

Если Э сообщал, что И:

1) проявлял удивление, был озадачен, поднимал глаза, то сообщение засчитывалось как «да», в противном случае — как «нет»;

2) проявлял или выражал замешательство или недоумение, то сообщение засчитывалось как «да», в противном случае — как «нет»;

3) проявлял раздражение, досаду или гнев, то сообщение засчитывалось как «да», в противном случае — как «нет»;

4) усмехался, улыбался или смеялся, то сообщение засчитывалось как «да», в противном случае — как «нет»;

5) выражал подозрение или требовал объяснений, то сообщение засчитывалось как «да», в противном случае — как «нет»;

6) демонстрировал некоторую реакцию, но не относящуюся к вышеперечисленным, то сообщение засчитывалось как «да».

Если протоколы не содержали достаточной информации для оценки, сообщение засчитывалось как «нет информации».

Затем подсчитывалась степень расстройства И'х, что делалось следующим образом:

1) Если не отмечалось никакой реакции либо смеха и/или испытуемый проявлял удивление, был озадачен или поднимал глаза, но ничего более, расстройство классифицировалось как «отсутствующее или слабое».

2) Если *И* демонстрировал реакции (1) и какие-либо две другие реакции из вариантов (2), (4) и (5), расстройство классифицировалось как «среднее».

3) Если *И* демонстрировал реакции (1), (2), (4) и (5), расстройство классифицировалось как «сильное».

Иногда смысл, придаваемый *И* ходу *Э*, можно было обнаружить по поведению испытуемого и его спонтанным замечаниям в конце игры. Иногда *Э* приходилось выявлять его, спрашивая *И*: «Как ты к этому относишься?». Одни *Э*'ы спрашивали об этом до, другие — после раскрытия экспериментального замысла.

Замечания *И*'х оценивались следующим образом:

1) Если *И*: а) действовал так, словно ничто не требовало объяснения или не существовало никакой проблемы и/или б) если он говорил, что, по его мнению, *Э* испытывает новый способ игры, помешан на крестиках-ноликах либо играет или пробует играть в новую игру, это засчитывалось как отказ *И* от порядка крестиков-ноликов и избрание нового порядка.

2) Если *И* говорил, а) что за этим скрывалась определенная хитрость (например, что это был комический трюк, что *Э* вел себя экстравагантно или баловался, что это был тест или некий эксперимент) и/или б) что *Э* играл в «неизвестную игру» (например, *Э* запутывал *И* или на самом деле не играл в крестики-нолики, *И* обманывался или высмеивался, *Э* использовал данный способ ведения игры, чтобы сделать завуалированное сексуальное предложение или высказаться по поводу глупости *И*, или *Э* строил из себя самого умного), считалось, что *И* воспринимал *Э* как играющего в неизвестную игру. Оба варианта, (а) и (б), пункта 2 рассматривались как отказ *И* от порядка крестиков-ноликов, но без выбора альтернативного порядка.

3) Если *И* говорил, что *Э* играл в крестики-нолики, но жульничал, это засчитывалось как сохранение *И* порядка крестиков-ноликов.

И мог продолжить игру, отказаться от продолжения игры или начать играть в «не-игру», т. е. играть в аналогичную игру или ответно срывать игру (например, повторяя способ ведения игры *Э* или действуя по принципу «ты играешь, как тебе вздумается, и я могу играть, как мне вздумается», «ты срываешь мне игру, и я буду срывать тебе игру» или «ты думаешь, что можешь выиграть подобным образом, но я сейчас поставлю все свои значки и выиграю»).

Результаты. В таблицах 1.1–1.7 приведены результаты. Представленные ниже обширные данные достаточно красноречивы, чтобы вызывать по крайней мере первичное доверие.

ТАБЛИЦА 1.1. Как воспринимался «неправильный» ход?

	Возрастная категория									
	5–11		12–17		18–35		36–65		Все испытуемые	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Сообщалось о той или иной реакции на необычный характер хода	54	94,7	19	95,0	138	94,5	29	96,7	240	94,9
Сообщалось об отсутствии реакции на необычный характер хода	3	5,3	1	5,0	8	5,5	1	3,3	13	5,1
Все испытуемые	57	100,	20	100,	146	100,	30	100,	253	100,

ТАБЛИЦА 1.2. Мотивировал ли ход немедленную попытку понять, что происходит?

	Возрастная категория								Все испытуемы е	
	5–11		12–17		18–35		36–65			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Что угодно, начиная с просьбы и заканчивая требованием объяснения	20	35,1	14	70,0	82	56,2	15	50,0	131	51,8
Обвиняет, «раскусывает» ход, критикует или не признаёт экспериментатора	29	51,0	0	0,0	28	19,2	9	30,0	66	26,1
Наблюдается эффект, но не относящийся к вышеперечисленны м	5	8,7	5	25,0	28	19,2	5	16,7	43	17,0
Не отмечается никакого непосредственного изменения или реакции	3	5,2	1	5,0	8	5,4	1	3,3	13	5,1
Все испытуемые	57	100,0	20	100,0	146	100,0	30	100,0	253	100,0
Все испытуемые, выдвигавшие просьбы	49	86,1	14	70,0	110	75,4	24	80,0	197	77,9

ТАБЛИЦА 1.3. На кого испытуемый возлагал ответственность за характер игры?

	Возрастная категория								Все испытуемы е	
	5–11		12–17		18–35		36–65			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Ты играешь неправильно	43	75,5	14	70,0	101	69,2	26	86,6	184	72,7
Я играю неправильно	6	10,5	2	10,0	12	8,2	0	0,0	20	7,9
Мы оба могли бы играть правильно, но не играем (срыв игры)	8	14,0	4	20,0	33	22,7	4	13,4	49	19,4
Все испытуемые	57	100,0	20	100,0	146	100,0	30	100,0	253	100,0

ТАБЛИЦА 1.4

Как зависела степень расстройства испытуемого от характера приверженности испытуемого к определенному нормативному порядку?

Степень расстройства испытуемого	Испытуемый нормализовывал неправильный ход через								
	Избрание нового порядка		Отказ от крестиков-ноликов, но без выбора альтернативы		Сохранение порядка крестиков-ноликов		Все испытуемые		
	N	%	N	%	N	%	N	%	
Отсутствует слабое	или 26	86,7	36	30,8	20	19,4	81	32,8	
Среднее	3	10,0	46	40,3	32	31,1	81	32,8	
Сильное	1	3,3	33	28,9	51	49,5	85	34,4	
Все испытуемые	30	100,0	114	100,0	103	100,0	247	100,0	
Нет информации								6	

$\chi^2 = 55,43$ при 6 d.f. $p < .001$ при условии, что степень расстройства и избрание нормативного порядка варьировались независимо друг от друга.

ТАБЛИЦА 1.5. Как зависела степень расстройства испытуемого от возраста испытуемого?

Степень расстройства испытуемого	Возрастная группа								Все испытуемые		
	5–11		12–17		18–35		36–65		ε		
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	
Отсутствует слабое	или 14	25,5	3	12,0	54	37,2	11	36,7	82	32,8	
Среднее	14	25,5	8	40,0	51	35,2	9	30,0	82	32,8	
Сильное	27	49,0	9	45,0	40	27,6	10	33,3	86	34,4	
Все испытуемые	55	100,0	20	100,0	145	100,0	30	100,0	250	100,0	
Нет информации								3			

$\chi^2 = 11,39$ при 6 d.f. $.10 < p < .05$ при условии, что возрастная группа и степень расстройства варьировались независимо друг от друга.

ТАБЛИЦА 1.6. Как зависела степень расстройтва испытуемого от степени знакомства между испытуемым и экспериментатором?

Степень расстройтва испытуемого	Степень знакомства									
	Незнакомец		Знакомый		Друг		Члены семьи		Все испытуемые	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Отсутствует слабое	17	32,7	29	31,8	25	38,4	10	25,7	81	32,8
Среднее	18	34,6	27	29,7	21	32,3	16	41,0	82	33,2
Сильное	17	32,7	35	38,5	19	29,2	13	33,3	84	34,0
Все испытуемые	52	100,0	91	100,0	65	100,0	39	100,0	247	100,0
Нет информации										6

$\chi^2 = 3,89$ при 6 d.f. $.70 < p < .50$ при условии, что степень знакомства и степень расстройтва варьировались независимо друг от друга.

ТАБЛИЦА 1.7. Как зависела степень расстройтва испытуемого от того, одного или разного пола были испытуемые и экспериментаторы?

Степень расстройтва испытуемого	Пол испытуемого (И) и экспериментатора (Э)								Все испытуемые	
	МИ и МЭ		МИ и ЖЭ		ЖИ и МЭ		ЖИ и ЖЭ			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Отсутствует слабое	26	32,9	20	33,3	12	30,0	20	29,9	78	31,6
Среднее	27	34,2	18	30,0	13	32,5	24	35,8	82	33,4
Сильное	26	32,9	22	36,7	15	37,5	23	34,3	86	35,0
Все испытуемые	79	100,0	60	100,0	40	100,0	67	100,0	246	100,0
Нет информации										7

$\chi^2 = 0,67$ при 6 d.f. $p > .99$ при условии, что пол испытуемого и экспериментатора и степень расстройтва варьировались независимо друг от друга.

1. Из таблицы 1.1 следует, что «неправильный» ход влиял на поведение ИХ.

2. Таблица 1.2 указывает, что три четверти ИХ были мотивированы неправильным ходом на то, чтобы сразу попытаться понять, что происходит.

3. Таблица 1.3 показывает, что три четверти игроков возлагали ответственность за характер игры на Э.

4. Таблицы 1.4–1.7 стимулируют нас пойти дальше. В идеальном случае мы бы хотели, чтобы один лишь факт неправильного хода производил аномийные эффекты, при условии,

что человек попытался восстановить нормальный характер хода в пределах нормативного порядка крестиков-ноликов.

Таблица 1.4 показывает, что люди, интерпретировавшие этот ход как ход в рамках новой игры, демонстрировали низкую степень расстройств. Те, кто отказывался от крестиков-ноликов, но без выбора альтернативного порядка, демонстрировали большее расстройство. Те, кто пытался нормализовать ход в пределах порядка крестиков-ноликов, демонстрировали наибольшее расстройство.

Таблицы 1.5–1.7 показывают, что степень замешательства варьировала независимо от возраста испытуемых, степени знакомства между испытуемым и экспериментатором, а также того, были испытуемые и экспериментаторы одного или разного пола.

Результаты использования крестиков-ноликов подтвердили два важных теоретических момента. Во-первых, поведение, противоречившее конститутивному порядку игры, мотивировало немедленные попытки нормализовать это расхождение, т. е. истолковать наблюдаемое поведение как случай легально возможного события. Во-вторых, при условии нарушения легальной игры, расходящееся с ней событие приводило к наиболее бессмысленной ситуации тогда, когда игрок пытался нормализовать расхождение, одновременно стараясь сохранить конститутивный порядок неизменным, т. е. не выходить из игры и не ориентироваться на «новую игру».

Кроме того, мы обнаружили, что крестики-нолики вызывали достоверное и устойчивое замешательство у детей, особенно в возрасте от 5 до 11 лет. Эта процедура была менее эффективна в тех случаях, когда нужно было вызвать замешательство у взрослых, хотя применительно к ним она была крайне эффективна для того, чтобы возникла двусмысленная ситуация. Однако в протоколах экспериментов как со взрослыми, так и с детьми зафиксировано множество проявлений недоверия, которые не зависели от возраста, пола или степени знакомства с экспериментатором.

Ограничение на дальнейшее использование игр

В конечном счете, нас интересует возникновение замешательства не в ходе игр, а в «серьезных» ситуациях. Поскольку конститутивные ожидания доказали свою полезность в крестиках-ноликах, поставим вопрос о том, можно ли обнаружить конститутивные ожидания в событиях повседневной жизни.

Их можно обнаружить, но для этого рассмотрим ситуации, отличающиеся от игр.

Обращение к играм неправомерно, потому что игровые события структурно не совпадают с событиями обыденной жизни. Они настолько различны, что всякий разговор о нормах повседневных ситуаций как «правилах игры» оказывается простой фигурой речи. К тому же, поскольку многие взрослые сумели отказаться от игры, не разрушив своих взаимоотношений с экспериментатором, использовать результаты, касающиеся крестиков-ноликов, для того, чтобы выяснить, как возникает замешательство в повседневных ситуациях, нельзя.

Если в качестве отправной точки взять анализ ситуаций игры, проведенный Хейзингой [5], то обнаружится, что ситуации игр заметно отличаются от ситуаций, в основе которых лежит рутинное социальное структурирование событий повседневной жизни, следующими чертами.

1. В отличие от событий повседневной жизни, игровые события — как в процессе их протекания, так и в ретроспективе, будучи уже осуществленными — обладают особой временной структурой, ведь для всех состояний игры время ее проведения принципиально ограничено. Неотъемлемый смысл любого настоящего события игры предусматривается предполагаемым будущим — определенным временем, к которому игра будет закончена, например, через конкретное число ходов, когда бегуны достигнут финишной ленточки или по истечении шестидесяти минут игры. Тем самым осуществленная игра представляет собой замкнутый во времени эпизод. Базовые правила и актуальный осуществленный ход игры

полностью определяют этот эпизод как текстуру релевантностей. Еще одним характерным свойством выступает то, что успех и неудача легко различимы, и поэтому тот или иной исход крайне редко подвергается переинтерпретации. Кроме того, оценки успеха или неудачи не откладываются до тех пор, пока последующие обстоятельства, выходящие *за рамки* эпизода, хода игры либо всей игры в целом, не позволят установить, что этот эпизод «на самом деле означал». Наконец, знание о том, что игра будет завершена к определенному времени, актуально и потенциально доступно при любом нынешнем состоянии игры каждому игроку идентичным образом.

2. Любое расхождение между «официальным» определением игры и частными представлениями и оговорками человека никак не влияет на определение спектра возможных игровых событий и исходов. Для игроков игра является публичным мероприятием, возможности которого обусловлены мотивированным согласием человека с его базовыми правилами, и эти правила определяют общепринято понимаемую область. Базовые правила представляют собой по сути объективные правила, в том смысле, в каком «объективное» определяется Кауфманом [18]. Предусматриваемые ими события являются по сути объективными событиями.

3. Нахождение «в игре» предполагает, по определению, приостановку пресуппозиций и процедур «серьезной» жизни. Многие исследователи игр отмечали эту особенность, говоря об игре как об «искусственном мире в микрокосме».

4. Такая приостановка является обычно вопросом индивидуальных предпочтений. Возможность «участия в игре» принципиально осуществима. Кроме того, обычно, если, например, что-то пошло не так, человек в принципе может «выйти» из игры или сменить ее на другую, и это опять же вопрос его индивидуальных предпочтений.

5. Обычно «выход» из игры синонимичен восстановлению мира повседневной жизни как среды событий и установки повседневной жизни, которая эту среду конституирует. Пресуппозиции игры являются продуктом определенных модификаций пресуппозиций повседневной жизни, которые временно и добровольно приостанавливаются, т. е. делаются нерелевантными для хода игры.

6. Хотя в ходе игры стратегии могут быть в значительной степени импровизированными, а условия успеха и неудачи — неясными для игроков, базовые правила игры известны на всем протяжении игры. Они не зависят от изменения состояния игры и выбора стратегий и доступны для использования игроками, которые предполагают их доступность в качестве необходимого знания, имеющегося у игроков до возникновения ситуаций, требующих обращения к этим правилам с целью выбора одной из легальных альтернатив.

7. Актуальный ход игры не меняет базовые правила игры. В играх, в их привычном понимании, игроки не только знают базовые правила игры до того, как в нее вступают. Участвуя в игре, они не узнают об этих правилах ничего нового. Очевидно, подобную ситуацию следует отличать от ситуации, в которой базовые правила узнаются игроком только в ходе игры и только по причине его участия в ней, т. е. когда его действия опознаются, пересматриваются и корректируются в соответствии с неизвестным набором базовых правил.

8. Что касается базовых правил игры, то существует практически полное соответствие между нормативными описаниями игрового поведения и актуальным игровым поведением. Эмпирически это соответствие обнаруживается не только в самом способе ведения игры, но и между способами ее ведения. Подобное соответствие между нормативными описаниями повседневного поведения и актуальным повседневным поведением является исключением.

9. В той мере, в какой игроки придерживаются согласия с базовыми правилами, эти правила обеспечивают игроков определениями рациональных, реалистических, понятных действий в среде игровых событий. Действия, согласующиеся с базовыми правилами, определяют в играх «честную игру», в то время как возможные исходы игры определяют ее «справедливость».

10. В пределах базовых правил, которые предполагаются каждым из участников в качестве более-менее равно обязательных для них самих и для других участников, каждый игрок в принципе⁷ может применять такие стратегии, которые наиболее строго соответствуют нормам инструментальной эффективности. Кроме того, каждый игрок имеет принципиальную возможность предполагать или требовать для себя или своего партнера, не перечеркивая свое схватывание той игры, в которую они играют.

Конститутивный порядок событий повседневной жизни

Можно ли обнаружить «конститутивный акцент» в ситуациях событий «серьезной» жизни? Я полагаю, что три определяющих свойства базовых правил игры специфичны не только для игр, они обнаруживаются как свойства тех «допущений», которые Альфред Шюц в своих работах, посвященных конститутивной феноменологии ситуаций повседневной жизни [7; 12], назвал «установкой повседневной жизни».

Прежде чем перечислить черты, которыми эта установка наделяет события, целесообразно остановиться на том моменте, что допущения и правила могут быть переведены на язык ожидаемых событий. Например, говорить, что игрок допускает правило крестиков-ноликов, согласно которому игроки ходят поочередно А, Б, А, Б..., значит говорить, что ход его действий управляется нормативной последовательностью событий А, Б, А, Б... Утверждение, что человек нечто «допускает», эквивалентно утверждению, что он это «допускает относительно возможного расклада событий», что в свою очередь эквивалентно утверждению, что его действия строятся исходя из того ограниченного способа, каким могут происходить возможные события. Следовательно, то, что он, как утверждается, «допускает», представляет собой приписываемые черты событий, являющихся для него «сценическими». Он воспринимает их смысл как ограниченную рамку альтернативных спецификаций сцены событий. Поэтому актер способен испытывать «изумление», когда актуальные события нарушают эти ожидания.

Конститутивный акцент определяется следующей формулой, которая может быть применена к каждой из черт ситуации событий, обсуждаемой Шюцем, когда он перечисляет допущения установки повседневной жизни. Каждая из этих черт обладает исходным атрибутом: «При наличии альтернативных возможностей человек а) ожидает, что... (вставить релевантную черту); б) ожидает, что как это относится к нему, так это относится и к другому человеку, и в) ожидает, что как он ожидает, что это относится к другому человеку, так и другой человек ожидает, что это относится к нему».

⁷ Мне кажется, хотя я не могу это доказать, что в играх, в отличие от повседневной деятельности, лишь смекалка игрока или его произвольное желание ограничивают возможность того, что его стратегии игры будут соответствовать строгим соображениям инструментальной эффективности. В играх базовые правила, и только базовые правила, навязывают нечто эквивалентное «институциональным ограничениям рациональности», которые функционируют в делах «серьезной жизни». Материальная рациональность, о которой говорил Макс Вебер, проявляется в рыночных транзакциях как необходимое условие стабильных калькуляций в пределах и в отношении подобных транзакций. В такой «практической обстановке» попытки установить и санкционировать действия, согласующиеся с идеалом формальной рациональности, как ее называет Вебер, мешали бы схватыванию человеком своей реальной ситуации, анонимизировали бы воспринимаемую среду актуальных и возможных транзакционных событий и дезорганизовывали бы взаимодействие. В играх, напротив, проявляется формальная рациональность, а не материальная, поскольку игроки могут выбирать то или иное; либо материальная рациональность может проявляться в игре лишь потому, что игроки могут знать недостаточно, чтобы играть как-то иначе.

Установка повседневной жизни

В ряде классических работ по социологической теории, посвященных конститутивной феноменологии ситуаций повседневной жизни [7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15], Шюц описал те пресуппозиции, исходя из которых актор приписывает сценическим событиям конститутивные для него значения сценической черты «известное сообща с другими». В соответствии с программой, установкой и методом гуссерлевской феноменологии [6, с. 635–678], Шюц стремился отыскать такие пресуппозиции и подразумеваемые ими соответствующие средовые черты, которые были бы инвариантны для специфических содержаний действий и их объектов. Этот список не является исчерпывающим. Дальнейшие исследования должны выявить и другие черты. Как и любой продукт наблюдения, они имеют предварительный статус «таковых до тех пор, пока не продемонстрировано обратное».

1. Шюц обнаружил, что в повседневных ситуациях «практический теоретик» производит упорядочивание событий, пытаясь сохранить и санкционировать пресуппозицию, гласящую, что объекты мира таковы, какими они кажутся. Занимаясь повседневными делами, человек стремится интерпретировать эти дела, выдерживая линию «официальной» нейтральности в отношении той точки зрения, что к *любым* объектам мира можно применить *правило сомнения* в том, что они таковы, какими кажутся. Вместо этого допущение человека заключается в ожидании того, что между конкретным проявлением-объекта и подразумеваемым-объектом-проявляющимся-этим-конкретным-способом существует отношение несомненного соответствия. Исходя из набора возможных отношений между актуальными проявлениями объекта и подразумеваемым объектом, например, отношения *сомнительного* соответствия между ними, человек ожидает, что предполагаемое несомненное соответствие является санкционируемым. Он ожидает, что другой человек использует такое же ожидание более-менее идентичным образом, и ожидает, что, так же, как он ожидает, что это отношение будет в силе для другого человека, так и другой человек ожидает, что оно будет в силе для него.

2. Второе допущение Шюц обозначает как практический интерес человека к событиям мира. Релевантные черты событий, которые отбираются в соответствии с его интересом к ним, несут с собой для человека в качестве *их* инвариантной черты то, что они могут актуально и потенциально влиять на действия человека и испытывать влияние его действий. При наличии этой предполагаемой черты событий человек считает точность своих упорядочиваний событий проверенной и проверяемой без приостановки релевантности того, что он знает в качестве факта, предположения, догадки, фантазии и пр. благодаря своим телесным и социальным позициям в реальном мире. События, связи между ними, их каузальная текстура не являются для него предметом теоретического интереса. Он не санкционирует представление о том, что, имея с ними дело, следует обращаться с ними исходя из правила, что он ничего не знает или что он может допустить, что ничего не знает, «просто чтобы увидеть, к чему это приведет». В повседневных ситуациях то, что он знает, является неотъемлемой чертой его социальной компетенции. Он полагает, что то, что он знает так, как он это знает, персонифицирует его как социальный объект для него самого и для других в качестве добросовестного члена группы. Он санкционирует свою компетентность добросовестного члена группы (т. е. он и другие члены принимают его компетентность как само собой разумеющуюся) в качестве условия своей уверенности в том, что его схватывание своих повседневных дел реалистично.

3. Шюц описывает временную перспективу повседневной жизни. В своей повседневной деятельности человек реифицирует поток опыта, деля его на «временные отрезки» при помощи схемы темпоральных отношений, которую, по его мнению, он и другие люди используют эквивалентным и стандартизированным образом. Разговор, который он ведет, заключается для него не только в событиях его потока опыта, но и в том, что сказано или может быть сказано за время, отмеряемое последовательными положениями стрелок часов. Не только «смысл разговора», поступательно реализуемый через последовательность

реализованных значений осуществленного к-данному-моменту хода разговора, но и каждое «к-данному-моменту» обусловлено *его* [хода разговора] предвосхищениями. Кроме того, как в каждом здесь-и-сейчас, так и на протяжении всей последовательности различных здесь-и-сейчас разговор обладает для него как своими ретроспективными, так и перспективными значимостями. Сюда относятся доступные здесь-и-сейчас отсылки к началу, длительности, темпу, фазам и окончанию. Эти детерминанты «внутреннего времени» потока переживаний он координирует с социально применяемой схемой темпоральных детерминант. Он использует схему стандартного времени в качестве средства планирования и координации своих действий с действиями других, увязывания своих интересов с интересам других и соизмерения темпа своих действий с темпом их действий. Его интерес к стандартному времени вытекает из проблем, которые решаются такими спецификациями при планировании и координации взаимодействия. Он также полагает, что схема стандартного времени является целиком публичным делом, своего рода «одними большими часами, идентичными для всех».

Существуют и другие, непохожие на указанный способы темпорального разбиения потока опыта, которые создают воспринимаемый и известный-сообща порядок событий во «внешнем мире». Например, человек, занимающийся деятельностью научного теоретизирования, использует стандартное время как средство конструирования одного из альтернативных эмпирически возможных миров (разумеется, при условии, что теоретика интересуют фактические обстоятельства). Таким образом, то, что, вследствие заинтересованности человека в урегулировании практических дел, предполагало бы использование им времени для увязывания своих интересов с поведением других, выступает, в свете его интересов, научной проблемой, которая заключается в ясной формулировке подобных программ скоординированных действий в виде причинно-следственных связей. Еще один непохожий пример можно обнаружить в восприятии событий театральной постановки. Интерес к стандартному времени отодвигается в сторону как нерелевантный. Когда театральный зритель наблюдает социальные структуры, изображенные, например, в пьесе «Итан Фром»*, он позволяет выйти на передний план судьбе влюбленных и, в качестве условия понимания, — последовательности шагов, которые привели влюбленных к такой судьбе.

4. Шюц описывает допущение «и так далее». Под ним имеется в виду допущение того, что как события происходили в прошлом, так они будут вновь происходить и в будущем.

5. С этим допущением тесно связано другое: то, что проявления событий могут вновь подразумеваться актором как ансамбль конститутивных проявлений. Тем самым постоянство подразумеваемого объекта при различных вариациях в актуальных проявлениях заключается в его темпоральной тождественности. Человек полагает, что сейчас подразумеваемый объект такой же, каким он подразумевался в прошлом и каким он вновь может подразумеваться в будущем, несмотря на факты временной дискретизации, а также смену контекста, обстоятельств и актуальных проявлений.

6. Человек допускает общепринятую схему коммуникации. Он постигает смысл сценических событий благодаря предзаданному фону того, что «знает каждый из нас». Он полагает, что такой фон используется им самим и другими людьми подобно правилам кодирования, в соответствии с которыми решается вопрос о правильном соответствии между проявлением объекта и подразумеваемым-объектом-проявляющимся-этим-специфическим-образом.

7. Шюц выявил «тезис взаимности перспектив». Этот тезис включает два допущения: а) допущение «взаимозаменяемости точек зрения» и б) допущение «совпадения релевантностей».

а) Под допущением взаимозаменяемости точек зрения имеется в виду, что человек считает само собой разумеющимся, полагает, что другой человек тоже полагает, и полагает,

* «Итан Фром» (1911) — повесть Эдит Уортон (1862–1937), повествующая о трагической любви обедневшего фермера из Новой Англии. — *Прим. перев.*

что как он полагает в отношении другого, так и другой полагает в отношении него, что если бы они поменялись местами и здесь-и-сейчас другого стало его здесь-и-сейчас, а его здесь-и-сейчас стало здесь-и-сейчас другого, он увидел бы события тем же типичным образом, каким их видит другой, а другой увидел бы их тем же типичным образом, каким их видит он.

Если сформулировать иначе, «фоновой» чертой воспринимаемой человеком ситуации является то, что, учитывая специфические актуальные проявления сцены, если бы каждый поменялся местами с другим, то каждый опознавал бы сцену более-менее схожим для всех практических целей их взаимодействия способом. Когда человек воспринимает сцену, конкретные, актуальные здесь-и-сейчас проявления сцены состоят для него в ином, нежели для другого. Человек *знает* это. Но даже при наличии этого знания сцена *в то же время* обладает для него характерной чертой, заключающейся в том, что *актуально* проявляющееся здесь-и-сейчас является потенциальным-проявлением-каким-оно-было-бы-для-другого-если-бы-они-поменялись-местами. Он полагает, что актуально видимое каждым из них может быть потенциально увидено обоими при обмене позициями. Таким образом, как обнаружил Шюц, человек полагает, что имеются разные проявления, но также допускает, что они обусловлены разными перспективными позициями в мире, идентичном для них обоих. Однако этот идентичный мир, как установил Шюц, представляет собой осуществление допускаемой возможности взаимозаменяемости позиций — физических и социальных, — при которой предполагаемая взаимозаменяемость может сталкиваться с управляемым несоответствием. Поэтому черта, которой сцена обладает для актора и которая состоит в том, что эта сцена идентична для него и для другого человека, может модифицироваться путем модификации этой пресуппозиции, например, путем изменения интереса, путем церемониального соглашения, посредством таких инструментальных манипуляций, как хирургическая операция на мозге, прием наркотиков и т. п. Идентичный мир гарантируется «способностью» человека сохранять эту пресуппозицию в непредвиденных обстоятельствах, навязываемых ему реальным миром. Позже мы еще раз обсудим этот момент.

б) Под допущением совпадения релевантностей имеется в виду, что человек полагает, что другой человек тоже полагает, и полагает, что как он полагает в отношении другого, так и другой полагает в отношении него, что различия в перспективах, которые, как человек знает, обусловлены его собственными специфическими биографическими ситуациями и специфическими биографическими ситуациями другого человека, нерелевантны для наличных целей каждого из них и что оба они выбрали и проинтерпретировали актуально и потенциально общие объекты и их черты «эмпирически идентичным» способом, достаточным для всех их практических целей.

8. Человек допускает особую «форму социальности». Помимо прочего, эта форма социальности заключается в допущении человеком того, что существует некоторое характерное несоответствие между «образом» себя, который он приписывает другому человеку в качестве знания этого человека о нем, и знанием, которым он обладает о самом себе в «глазах» этого другого человека. Он также полагает, что модификации этого характерного несоответствия остаются под его автономным контролем. Данное допущение служит правилом, с помощью которого повседневный теоретик группирует свои переживания относительно того, что на самом деле с ним происходит. Поэтому общему intersубъективному миру коммуникации соответствует необнародованное знание, которое, в глазах человека, распределяется между людьми в качестве оснований их действий, т. е. в качестве их мотивов или, в радикальном смысле слова, их «интересов» как составных черт социальных отношений взаимодействия. Человек полагает, что есть вещи, которые знает один человек и, как он полагает, не знают другие. Неведение одной стороны заключается в том, что известно другой стороне и мотивационно релевантно для первой. Поэтому вещи, известные сообща, получают свой смысл благодаря личным недомолвкам, тому, что избирательно умалчивается. Таким образом, события повседневных ситуаций обусловлены этим неотъемлемым фоном «запасных значений», тем, что известно о себе и других и что никого больше не касается: словом, частной жизнью.

Определяющие черты событий, являющихся элементами обыденной среды

Каждая из вышеперечисленных пресуппозиций приписывает набору сценических событий черту, общую для элементов этого набора. Обыденная среда определяется чертой, добавляемой ко всем элементам набора: «известное сообща с любым добросовестным членом коллектива». Результаты изысканий Шюца раскрывают составной характер черты «известное сообща». Шюц разложил эту черту на несколько черт, которые являются конститутивными значениями «известного сообща».

В чем бы конкретно ни состояло событие, будь ее детерминантами мотивы людей, их жизненные истории, распределение доходов населения, условия продвижения по службе, родственные обязательства, организация промышленности, планировка города, ночные проделки призраков или мысль, пришедшая на ум Богу, *событие является событием в обыденной среде тогда и только тогда, когда оно имеет для очевидца следующие дополнительные детерминанты.*

1. Детерминанты, приписываемые событию свидетелем, являются, с его точки зрения, приписываниями, которые он обязан делать; другой человек обязан делать те же самые приписывания; и как свидетель требует, чтобы те же самые приписывания имели силу для других людей, он полагает, что и другой требует того же самого от него.

2. С точки зрения свидетеля, санкционированным отношением между наличным-проявлением-подразумеваемого-объекта и подразумеваемым-объектом-проявляющимся-в-этом-наличном-проявлении является отношение несомненного соответствия.

3. С точки зрения свидетеля, событие, которое известно так, как оно известно, может актуально и потенциально влиять на действия и обстоятельства знающего и может испытывать влияние со стороны его действий и обстоятельств.

4. С точки зрения свидетеля, значения событий являются продуктами стандартизированного процесса именованного, реификации и идеализации потока переживаний свидетеля, т. е. продуктами того же самого языка.

5. С точки зрения свидетеля, наличные детерминанты событий, каковы бы они ни были, являются детерминантами, которые подразумевались в предыдущих случаях и которые могут вновь подразумеваться идентичным образом в бесконечном числе будущих случаев.

6. С точки зрения свидетеля, подразумеваемое событие сохраняется как темпорально идентичное событие в пределах всего потока опыта.

7. С точки зрения свидетеля, событие имеет в качестве своих контекстов интерпретации:

а) общепринятую схему коммуникации, заключающуюся в стандартизированной системе сигналов и правил кодирования, и

б) «то, что известно каждому», т. е. предустановленный корпус социально гарантированного знания.

8. С точки зрения свидетеля, актуальные детерминанты, которые событие демонстрирует ему, являются потенциальными детерминантами, которые оно бы продемонстрировало другому человеку, если бы они поменялись местами.

9. С точки зрения свидетеля, каждому событию соответствуют свои детерминанты, берущие начало в частных биографиях его самого и другого человека. С точки зрения свидетеля, такие детерминанты нерелевантны для наличных целей каждого из них, и, с точки зрения свидетеля, оба они отобрали и проинтерпретировали актуальные и потенциальные детерминанты события эмпирически идентичным способом, достаточным для всех их практических целей.

10. С точки зрения свидетеля, существует характерное несоответствие между публично признаваемыми детерминантами и личными, умалчиваемыми детерминантами событий, причем это частное знание хранится про запас. С точки зрения свидетеля, событие значит как для свидетеля, так и для другого больше, чем свидетель может выразить словами.

11. С точки зрения свидетеля, модификации этого характерного несоответствия остаются под его автономным контролем.

Обыденная среда событий

На самом деле то, что демонстрирует событие в качестве своих отличительных детерминант, не является условием включения в обыденную среду, а условиями включения является то, что эти черты были бы видимы другим, если бы они поменялись местами, что эти черты не приписываются в силу личного предпочтения, а должны быть видимы каждому, и т. д., т. е. составные черты «известного сообщества с другими».

Перечисленные выше одиннадцать черт, и только они, определяют обыденный характер события. Эти одиннадцать черт являются решающими условиями использования членами общества событий как санкционируемых оснований для дальнейших выводов и действий⁸. Для членов эти черты являются конститутивными чертами «актуальных событий в реальном обыденном мире» независимо от того, какие еще детерминанты эти события могут демонстрировать. Следовательно, если такие события, как «Мужья служат главной опорой своей семье», «Прыгнешь в воду — промокнешь», «Все евреи богаты» и «Христос придет во второй раз», называются элементами обыденной среды в целом, это равнозначно утверждению, что для свидетелей они демонстрируют вышеуказанные одиннадцать черт.

Для свидетелей эти атрибутируемые черты необходимо релевантны. Иными словами, они представляют собой неизменно предполагаемые или, лучше сказать, неизменно понимаемые черты того, на что свидетели смотрят и что они видят. Например, одной из черт картины, висящей на стене за спиной моего собеседника и видной мне, но не видной ему, пока он обращен лицом ко мне, является, наряду с привлекательностью изображенной на ней сцены, то, что он-увидел-бы-ее-если-бы-повернул-свою-голову. По сути, тот факт, что это картина-которую-он-увидел-бы-если-бы-повернул-свою-голову, я истолковываю как доказательство ее «конкретного» характера, т. е. как потенциально проверяемую спецификацию этой картины. Однако для множества ситуаций, в которые я включен, подобная спецификация картины может быть «просто само собой разумеющейся», потенциально проверяемой с помощью множества возможных операций чертой. Эта черта остается непроблематичной и не просто неосознаваемой, а даже, возможно, выходящей за рамки моего желания или способности вербализовывать ее. То, что я, тем не менее, реагирую на нее, можно продемонстрировать с помощью соответствующей операции (скажем, процедуры индуцирования несоответствия).

Эти атрибутируемые черты проясняют для свидетеля любые конкретные проявления межличностной среды, но без их обязательного осознанного или целенаправленного опознания. Напротив, эти атрибуты обычно являются «видимыми, но не замечаемыми» чертами социально структурированных сред. Хотя они доказуемо релевантны для опознаваемости средовых событий как для самого человека, так и, с его точки зрения, для окружающих его других людей, они редко привлекают его внимание. Как отмечает Шюц [12], требуется «особый мотив», чтобы сделать их предметом рассмотрения. Чем больше обстановка институционально отрегулирована и рутинизирована, тем сильнее свидетель считает само собой разумеющейся их черту «известного сообщества с другими». Поэтому данная черта принципиально важна не только для настоящей статьи, но и для социологических исследований в целом, так как извечная задача социологических исследований состоит в установлении и определении тех черт их ситуаций, на которые люди, сами того не сознавая, тем не менее, реагируют как на *необходимые* черты.

Допущения, составляющие установку повседневной жизни, конститутивны для ситуации событий как известного сообщества и само собой разумеющегося мира. Это значит, что для

⁸ Общей темой, пронизывающей определения, которые дают термину «общая культура» социологи и антропологи, является отсылка к социально санкционированным основаниям выводов и действий, совершаемых людьми, понятыми в качестве членов общества, с целью управления своими повседневными делами и используемых, как они полагают, другими членами точно таким же образом. Следовательно, можно мыслить указанные одиннадцать характеристик как конститутивные черты общей культуры и рассматривать различные ее определения как теоретические версии обыденного знания социальных структур.

человека подобная среда событий включает эти атрибуты как необходимо релевантные, т. е. как инвариантно предполагаемые, инвариантно понимаемые, точно так же как игрок в крестики-нолики при любых перипетиях игры понимает, что игровое поле состоит из девяти клеток. Эти атрибуты, касающиеся поля событий, проясняют для игрока в крестики-нолики смысл любого конкретного события игры, но не выступают осознаваемой частью его размышлений. Это относится и к человеку в повседневных средах. И как для игры в крестики-нолики справедливо то, что подобные атрибуты доказуемо релевантны для суждений игрока, но редко проблематичны, это же справедливо и для событий повседневной жизни. Такие атрибуты представляют собой черты наблюдаемых событий, которые «видятся, но не замечаются». Они доказуемо релевантны для смысла, который актер придает происходящему с ним, но редко привлекают к себе его внимание. В воспринимаемой человеком ситуации событий такие черты являются неотъемлемыми спецификациями этих событий и существенно важны для опознания им среды как состоящей из реальных и понятных событий, а также для опознания им рациональных и разумных действий, предпринимаемых в границах и в отношении этой среды.

Перечисленные нами ожидаемые черты событий трактуются как черты тех областей событий, относительно которых актер, даже если он их не осознает, способен испытать сильное и неприятное удивление. *Если предположить, что именно на этих чертах делается конститутивный акцент, то операция по умножению бессмысленности его ситуации предполагает их нарушение.* И, в соответствии с определением «доверия» в играх, конститутивный акцент, придаваемый этим событиям, предоставляет нам общее определение «доверия» в повседневных ситуациях.

Какие условия необходимо создать, чтобы вызвать замешательство?

Само по себе простое совершение действия, нарушающего конститутивное ожидание, не даст нам желаемых результатов. Чтобы убедиться в этом, обратимся еще раз к картине на стене, которую мой партнер по разговору не видит до тех пор, пока обращен лицом ко мне, но смог бы увидеть, если бы повернул голову. Представим себе, что когда я спрашиваю его: «Как тебе картина сзади?», он поворачивает голову, внимательно осматривает стену, поворачивается обратно и спрашивает: «Какая картина?» Нет ничего менее очевидного, чем то, что вследствие этого я должен испытать недоумение, даже хотя это процедура нарушения конститутивного ожидания взаимозаменяемости точек зрения. Совсем не очевидно, что результатом должно стать замешательство, поскольку до сих пор в настоящей статье не было представлено ничего, что позволяло бы решить, какие из моих альтернативных реакций на его замечание возможны, не говоря уже вероятны. Я мог бы испытать мучительную дезориентацию, но я также мог бы воспринять его замечание как грубый комментарий по поводу моих художественных вкусов или спросить шутливым тоном, давно ли он ослеп. Пока еще не было предложено ни одного правила, которое бы некоторым не эклектично-обыденным образом ограничивало набор альтернативных реакций. Например, для каждой альтернативы, которую я мог бы избрать, необходимо, чтобы я принял некоторое допущение относительно типа моих отношений с человеком. Если подразумевается, что он выше по статусу, тогда можно было бы достаточно уверенно «предсказать», что мой ответ будем иным, чем если бы он был моим близким другом.

Следовательно, требуются дополнительные решения, чтобы достичь условий, при которых следует предсказывать замешательство как логическую необходимость.

За помощью я опять обращаюсь к Шюцу [12], приняв за основу его вывод о том, что ситуации игр, развлечений, научного теоретизирования, сновидения, постановки пьесы, посещения театра производятся путем модификации пресуппозиций установки повседневной жизни. Так же как человек перестает воспринимать события «обычным способом» ради «включения в игру», в обратном случае он «покидает» театр, или «откладывает» научную проблему, или «пробуждается» ото сна, или «прекращает» игру, или «останавливает»

исполнение пьесы, только чтобы вернуться к «повседневным» событиям социального порядка. Пресуппозиции, которые конституируют черту ситуации событий «известное-сообща-с-другими-и-с-другими-считающееся-само-собой-разумеющимся», «фундаментальны» в том смысле, что все альтернативные области событий — сновидение, научное теоретизирование, восприятие пьесы — представляют собой модификации установки повседневной жизни. Например, пресуппозиции, которые конституируют для театрального зрителя смысл смерти Цезаря на руках равнодушных сенаторов, создаются в результате рассмотрения времени, которое занимает исполнение роли Юлия Цезаря, в качестве известного, но по сути нерелевантного условия для «оценивания» событий пьесы, например, опознания того, что на самом деле Антоний говорит толпе об убийцах Цезаря. Но как только занавес опускается, пресуппозиции «житейского темпорального порядка вещей» восстанавливаются, т. е. «представление окончено».

«Фундаментальные» и «производные» акценты, придаваемые порядку событий, меняются при переходе от установки повседневной жизни к альтернативным установкам как ее модификациям. Средовым продуктом каждого такого изменения будет, в том или ином случае, область «игры», «научной проблемы» или «сновидения». Каждая из них является «подобластью» событий, смысл которых выступает продуктом модификации того смысла, который события приобретают благодаря установке повседневной жизни.

При определении условий замешательства мы сталкиваемся прежде всего с тем, что каждая из возможных модификаций «смысла ситуации» предполагает специфическую приостановку нормативных порядков событий повседневной жизни. Следовательно, человек, сталкивающийся с разрушением конститутивного акцента повседневных ситуаций, может справиться с «несоответствием», «покидая поле», например, обращая свою ситуацию в «игру» или превращая ее в «эксперимент» либо «шутливую перепалку» и пр. Но, как мы только что сказали, всё это предполагает приостановку им релевантности обыденных структурных ограничений.

В случае игры в крестики-нолики мы видели, что замешательство и смущение были наиболее выражены у тех, кто пытался справиться с «удивлением», сохраняя порядок игры, т. е. не покидая игры и не переключая внимания на новую игру. Тем самым можно, по крайней мере предварительно, рекомендовать первое условие. Если мы собираемся привести нашего испытуемого в замешательство, мы должны помешать ему покинуть поле. Конкретно это означает, что если мы начинаем с ситуации, структурированной согласно пресуппозициям повседневной жизни, мы должны каким-либо образом помешать человеку превратить ситуацию в игру, или истолковать ее как предмет чисто теоретического интереса, или «увидеть» ее как эксперимент, и т. д.

Но даже если это условие соблюдено, перед нашим испытуемым все еще остается открытой важная альтернатива. Если, однако, мы признаём «фундаментальный» характер допущений повседневной жизни, доступным для него будет *только* другой вариант: он может перенести конститутивный акцент повседневной жизни на новый набор событий. Как можно было видеть на примере игр, это означает ни что иное, как переопределение социальной реальности.

Но что касается возможности отдельного человека самостоятельно достичь такого переопределения социальной реальности, многие данные говорят о том, что, хотя подобный процесс переопределения может происходить, а) его лучше совершать совместно с другими, б) он отнимает время и в) он имеет в качестве своего продукта допущение человеком всеобщей достоверности переопределенной реальности.

Итак, мы выявили условия, которые нам необходимо создать, чтобы запрограммировать ряд манипуляций, которые приведут к умножению аномийных черт ситуации человека. Если человек не может покинуть поле и если он не может перенести конститутивный акцент на новый набор событий, потому что он должен совершить переопределение самостоятельно, в условиях нехватки времени и не имея возможности допустить, что новый акцент находит всеобщую поддержку, у него должна быть только одна альтернатива: нормализовать

нарушение конститутивных ожиданий в пределах нормативного порядка событий повседневной жизни. Результатом должно стать замешательство.

Некоторые предварительные опыты и результаты

Поскольку каждая из пресуппозиций, образующих установку повседневной жизни, приписывает среде актора ожидаемую черту, должна существовать возможность экспериментального индуцирования нарушения этих ожиданий путем целенаправленной модификации сценических событий таким образом, чтобы эти атрибуты не оправдывались. По определению, удивление возможно в отношении каждой из этих ожидаемых черт. Неприятность удивления должна изменяться в прямой зависимости от того, в какой степени актер соглашается с конститутивным порядком событий повседневной жизни как схемой приписывания наблюдаемым проявлениям статуса событий в воспринимаемо нормальной среде.

Для прояснения того, будет ли нарушение этих пресуппозиций вызывать аномийные эффекты и усиливать дезорганизацию, был использован ряд процедур. Эти процедуры следует мыслить скорее как демонстрации, чем как эксперименты. «Экспериментаторами» выступали студенты старших курсов, посещавшие курсы автора. Их подготовка заключалась исключительно в предоставлении устных инструкций о том, как себя вести. Демонстрации выполнялись в качестве домашних заданий и проводились без внешнего надзора. Студенты сообщали о полученных ими результатах в анекдотической манере и не были ограничены ничем, кроме требования избегать интерпретаций. Они просто излагали на бумаге то, что говорилось и делалось, и максимально придерживались формы хронологического отчета.

Поскольку эти процедуры всё же вызывали многочисленные эффекты, о них, на мой взгляд, стоит рассказать. Вместе с тем очевидно, что в оценке их результатов следует соблюдать осторожность.

Демонстрация 1: Нарушение совпадения релевантностей. Это ожидание состоит в следующем. Человек ожидает, что другой человек делает то же самое, и ожидает, что как он ожидает от другого, так и другой ожидает от него, что различия в их перспективах, обусловленные их специфическими индивидуальными биографиями, нерелевантны для наличных целей каждого из них и что оба они выбрали и проинтерпретировали актуально и потенциально общие объекты «эмпирически идентичным» способом, достаточным для наличных целей. Так, например, говоря об «общеизвестных вещах», люди будут обсуждать их, используя цепочку высказываний, направляемых ожиданием того, что другой человек их *поймет*. Говорящий ожидает, что другой человек будет приписывать его репликам смысл, подразумеваемый говорящим, и ожидает, что тем самым другой человек будет позволять говорящему придерживаться допущения, что оба они знают, о чем он говорит, не требуя уточнений. Таким образом, предмет обсуждения приобретает осмысленность в результате одобряемого приписывания — которое ожидается от каждого и которое каждый взаимным образом ожидает от другого — того, что условием своего права беспрепятственно решать, что он знает, о чем говорит, и что то, о чем он говорит, таковым и является, выступает то, что, если понадобится, каждый предоставит все невысказанные понимания. Поэтому многое из того, о чем говорится, не упоминается, хотя каждый ожидает, что установлен адекватный смысл предмета разговора. Чем больше дело обстоит подобным образом, тем больше обмен репликами представляет собой обмен банальными замечаниями между людьми, которые «знают» друг друга.

Студентам было поручено вовлечь знакомого или друга в обычный разговор и, не подавая вида, что высказывания экспериментатора чем-либо необычны, настаивать на том, чтобы человек прояснил смысл своих тривиальных замечаний. Двадцать три студента сообщили о двадцати пяти случаях таких бесед. Далее приводятся типичные выдержки из их отчетов.

Случай 1. Испытуемая рассказывала экспериментатору — члену одного с ней автомобильного пула⁹ — о том, что накануне по пути на работу она проколола колесо.

(И) «Я проколола колесо».

(Э) «Что значит „Я проколола колесо“?»

На мгновение она потеряла дар речи. Потом довольно враждебно ответила: «Что значит? Что значит? Проколола колесо — это проколола колесо. Вот что это значит. Ничего особенного. Что за дурацкий вопрос!»

Случай 2. (И) «Привет, Рэй! Как твоя подружка?»

(Э) «Что значит „как она“? Физически или психологически?»

(И) «Это значит — как она. Что это с тобой?» (Выглядит раздраженным.)

(Э) «Ничего. Просто объясни поточнее, что ты имеешь в виду».

(И) «Проехали. Как у тебя с поступлением в мединститут?»

(Э) «Что значит „как с ним“?»

(И) «Ты знаешь, что это значит».

(Э) «Я действительно не знаю».

(И) «Да что с тобой? Ты не заболел?»

Случай 3. В пятницу вечером мой муж и я смотрели телевизор. Муж мимоходом заметил, что устал. Я спросила: «Как ты устал? Физически, умственно или тебе просто надоело?»

(И) «Не знаю, думаю, в основном физически».

(Э) «Ты имеешь в виду, у тебя болят мышцы или ноют кости?»

(И) «Да, наверное. Не будь такой дотошной».

(Спустя некоторое время, продолжая смотреть телевизор.)

(И) «Во всех этих старых фильмах одна и та же старая железная кровать».

(Э) «Что ты имеешь в виду? Все старые фильмы, или только некоторые из них, или только те, которые видел сам?»

(И) «Да что с тобой? Ты знаешь, что я имею в виду».

(Э) «Я хотела бы, чтобы ты уточнил».

(И) «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду! Отвяжись!»

Случай 4. Во время разговора (с невестой) Э спрашивал о значении различных слов, использовавшихся испытуемой. Первые полторы минуты испытуемая реагировала на вопросы так, словно они вполне законны. Потом она спросила: «Чего это ты задаешь мне подобные вопросы?» и в дальнейшем повторяла это два-три раза после каждого вопроса. Она начала нервничать и волноваться, выражение лица и движения рук... стали неконтролируемыми. Она выглядела смущенной и пожаловалась, что я заставляю ее нервничать, потребовав, чтобы я «прекратил это»... Она взяла журнал и заслонила им от меня. Потом положила журнал и сделала вид, что поглощена чтением. Когда я спросил, почему она смотрит в журнал, она поджала губы и отказалась дальше разговаривать.

Случай 5. Мой друг сказал мне: «Быстрее, а то опоздаем». Я спросил его, что он имеет в виду под «опоздаем» и с какой точки зрения это важно. На его лице появилось недоуменное и циничное выражение. «Чего это ты задаешь мне дурацкие вопросы? Конечно же, мне не надо объяснять подобное высказывание. Что с тобой сегодня? Почему я должен всё бросать и анализировать эту фразу? Всем понятно, что я говорю, и ты не исключение».

Случай 6. Жертва приветливо помахала рукой.

(И) «Ты как?»

(Э) «Я как в смысле чего? Здоровья, денег, учебы, настроения..?»

⁹ Автомобильный пул — объединение живущих в пригороде соседей-автовладельцев, каждый из которых по очереди возит остальных на работу на своей машине. — *Прим. перев.*

(И) (Краснея и внезапно выходя из себя.) «Слушай, я просто старался быть вежливым. По правде, мне совершенно плевать, как ты!»

Случай 7. Мой друг и я разговаривали о человеке, чье высокомерие нас раздражало. Мой друг поделился своим чувством.

(И) «Меня от него тошнит».

(Э) «Не мог ты объяснить, из-за какой болезни тебя тошнит?»

(И) «Ты смеешься надо мной? Ты знаешь, что я имею в виду».

(Э) «Пожалуйста, объясни свое недоумение».

(И) (Выслушав меня с озадаченным видом.) «Что на тебя нашло? Мы с тобой так никогда не разговариваем, разве нет?»

Случай 8. Вечером в пятницу мой муж явно мимоходом спросил: «Ты не забыла сегодня отдать мои рубашки?»

Не принимая ничего как данность, я ответила: «Я помню, ты что-то говорил об этом утром. Какие рубашки ты имел в виду, и что ты хотел сказать, прося „отдать“ их?» Он выглядел озадаченным, как будто я ответила не на тот вопрос, который он задал.

Вместо предоставления объяснений, которые он, похоже, ожидал, я продолжала настаивать: «Я подумала, что все твои рубашки в неплохом состоянии; почему бы тебе не поносить их еще немного?» У меня было неприятное чувство, что я перестаралась.

Теперь он выглядел уже не озадаченным, а рассерженным. Он повторил: «Еще немного! Что это значит, и что ты сделала с моими рубашками?»

Я тоже притворилась рассерженной. Я спросила: «Какие рубашки? У тебя есть спортивные рубашки, простые рубашки, шерстяные рубашки, домашние рубашки и грязные рубашки. Я не телепат. Какие ты хотел?»

Муж снова растерялся, будто пытаясь объяснить себе мое поведение. Он казался одновременно защищающимся и нападающим. Он спокойно, терпеливо произнес: «Ладно, давай начнем сначала. Ты отдала сегодня мои рубашки?»

Я ответила: «Я слышала тебя. Я хочу только, чтобы ты говорил яснее. Что касается меня, то отдать твои рубашки — о каких бы рубашках ты ни говорил — может означать отдать их нуждающимся, оставить в прачечной, в химчистке или выбросить. Я никогда не знаю, что значат эти твои туманные выражения».

Он задумался над моими словами, а потом сменил всю перспективу, начав действовать так, словно мы играем в игру, как будто это всего лишь шутка. И, похоже, эта шутка ему нравилась. Он обезоружил меня, приняв ту роль, которую я считала своей. Он сказал: «Ладно, пойдем по шагам. Отвечай только „да“ или „нет“. Ты видела грязные рубашки, которые я оставил на кухне, да или нет?»

Я не придумала, как усложнить его вопрос, и потому была вынуждена ответить: «Да». В том же духе он спросил, взяла ли я эти рубашки, положила ли я их в машину, сдала ли я их в химчистку и сделала ли я все это сегодня, в пятницу. Мои ответы были: «Да».

Мне показалось, что эксперимент был сорван тем, что он свел все части своего первоначального вопроса к простейшим формулировкам, которые были предъявлены мне так, словно я ребенок, не способный справиться со сколь-нибудь сложными вопросами, проблемами или ситуациями.

Демонстрация 2: Нарушение взаимозаменяемости точек зрения. Чтобы нарушить предполагаемую взаимозаменяемость точек зрения, студентов просили зайти в магазин, выбрать покупателя и начать обращаться с ним как с продавцом, при этом не признавая, что испытуемый — не тот человек, за которого его принимает экспериментатор, и ни чем не выдавая того, что отношение экспериментатора хоть в чем-то не является разумным и законным.

Случай 1. Однажды вечером, совершая покупки в «Сирс»^{*} вместе с другом, я (мужчина) оказался рядом с женщиной, которая что-то выбирала в секции кухонной посуды. Магазин был полон людей... и отыскать продавцов было нелегко. Женщина стояла в двух футах от меня, а мой друг — у меня за спиной. Указав на чайник, я спросил у женщины, не считает ли она цену несколько завышенной. Вопрос был задан в дружественном тоне... Она посмотрела на меня, потом на чайник и сказала «да». Тогда я сказал, что все-таки собираюсь его взять. Она сказала: «О!», и стала боком отходить от меня. Я быстро спросил ее, не завернет ли она его мне и не примет ли мои наличные. По-прежнему медленно пятясь и бросая взгляды то на меня, то на чайник, то на другую посуду, находящуюся довольно далеко от меня, она сказала, показав куда-то, что продавец «там». Я спросил ее твердо, не собирается ли она меня обслужить. Она сказала: «Нет, нет, я не продавщица. Она вон там». Я сказал, что осведомлен о недостаточном опыте вспомогательных служащих, но это еще не повод не обслуживать покупателя. «Просто обслужите меня. Я подожду». При этих словах лицо ее гневно вспыхнуло, и она быстро удалилась, один раз обернувшись назад, словно желая спросить, могло ли такое быть на самом деле.

Следующие три протокола составлены сорокалетней аспиранткой, специализирующейся в области клинической психологии.

Случай 2. Мы заглянули в книжный магазин «V», известный в определенных кругах не столько хорошим ассортиментом и богатыми запасами, сколько тем, что продавцами в нем работают мужчины-гомосексуалисты. Я подошла к джентльмену, который копался в книгах, аккуратно разложенных на столе.

(Э) «Я спешу. Пожалуйста, не могли бы вы поискать экземпляр „Социопатического поведения“ Лемерта?»

(И) (Окинул Э взглядом с ног до головы, выпрямился, медленно положил книгу, немного отступил назад, затем слегка наклонился вперед и вполголоса произнес) «Я тоже интересуюсь социопатическим поведением. Поэтому я сюда и зашел. Я изучаю здешних парней, прикидываясь...»

(Э) (Перебивая) «Меня не особенно интересует, тот ли вы, за кого себя выдаете. Пожалуйста, просто найдите книгу, которую я попросила».

(И) (Выглядел потрясенным. Совершенно изумленным, без преувеличения. Обошел вокруг стола, нарочно оперся руками на книги, наклонился в мою сторону и выкрикнул) «У меня нет этой книги! Я не продавец. Я... Да ну вас!» (Гордо вышел из магазина.)

Случай 3. Когда мы зашли в магазин «И. Мэйнин»^{*}, там находилась одна женщина, которая вертела в руках свитер — единственный товар, который был в магазине в ассортименте. Я решила, что продавец, вероятно, на складе.

(Э) «Милый оттенок, но я ищу немного посветлее. Нет ли у вас из кашемира?»

(И) «На самом деле, я не знаю, видите ли, я...»

(Э) (Перебивая) «А, так вы здесь новенькая? Я не против подождать немного, пока вы найдете то, что я хочу».

(И) «Не буду я ничего искать!»

(Э) «Разве вы здесь не для того, чтобы *обслуживать* покупателей?»

(И) «Нет! Я здесь, чтобы...»

(Э) (Перебивает) «Подобное отношение неуместно. А теперь, будьте любезны, покажите мне кашемировый свитер с оттенком чуть посветлее вот этого».

(Входит продавец.)

(И) (Продавцу) «Любезный, эта (кивает в сторону Э) *особа* настаивает, чтобы ей показали свитер. Пожалуйста, позаботьтесь о ней, пока я занимаюсь своими делами. Я хочу убедиться,

^{*} «Сирс» — международная сеть универмагов. — Прим. перев.

^{*} «И. Мэйнин» — сеть магазинов дорогой одежды и предметов роскоши. — Прим. перев.

что он (свитер) подойдет, а то она (опять кивает в сторону Э) такая *настырная*». (*И* взяла свитер, с достоинством прошла к большому обитому стулу, села на него, смахнула со своих обтянутых в перчатки рук воображаемую грязь, подернула плечами, поправила на себе пиджак и бросила свирепый взгляд на Э.)

Случай 4. Гостя у своего друга в Пасадене, я рассказала ему об этом эксперименте-по-принятию-за-продавца. Друг — почетный профессор математики Калифорнийского политехнического института и преуспевающий автор множества книг, как специализированных, так и художественных, а также крайне язвительно относящийся к окружающим человек. Он попросил позволить ему сопровождать меня и помочь мне в выборе площадок... Сначала мы отправились позавтракать в «Атенеум»^{**}, где обслуживают студентов, преподавателей и гостей Калифорнийского политеха. Когда мы еще были в фойе, мой друг указал на джентльмена, стоявшего в большой гостиной у входа в обеденный зал, и сказал: «Иди туда. Подходящий испытуемый для тебя». И отошел в сторону, чтобы понаблюдать. Я решительно направилась к этому человеку и начала действовать следующим образом. (Себя я буду обозначать Э, испытуемого — *И*.)

(Э) «Будьте так добры, я бы хотела столик с западной стороны, в спокойном месте. А что у вас сегодня в меню?»

(*И*) (Повернулся к Э, но посмотрел мимо, в направлении фойе, и сказал) «Э... а... мадам, я уверен...» (снова посмотрел мимо Э, взглянул на карманные часы, вернул их на место и посмотрел в сторону обеденного зала.)

(Э) «Время завтрака еще определенно не истекло. Что посоветуете сегодня заказать?»

(*И*) «Я не знаю. Видите ли, я жду...»

(Э) (Перебила) «Пожалуйста, не заставляйте меня здесь стоять, пока вы ждете. Будьте любезны, покажите столик».

(*И*) «Но, мадам...» (начал пятиться от двери в гостиную, пытаюсь обойти Э стороной.)

(Э) «Любезный...» (при этих словах лицо *И* вспыхнуло, глаза округлились и широко открылись.)

(*И*) «Но... вы... я... о, господи!» (Казалось, он сник.)

(Э) (Взяла *И* за руку и начала подталкивать его к двери в обеденный зал, чуть впереди себя.)

(*И*) (Медленно шел, но, едва войдя в обеденный зал, остановился, повернулся кругом и впервые прямо и очень оценивающе посмотрел на Э, достал часы, взглянул на них, поднес к уху, вернул на место и пробормотал) «О, боже».

(Э) «У вас уйдет не больше минуты, чтобы показать мне столик и принять заказ. Потом вы сможете вернуться к ожиданию своих клиентов. В конце концов, я тоже гость и клиент».

(*И*) (Несколько пришел в себя, порывисто направился к ближайшему свободному столику, отодвинул стул, чтобы Э могла сесть, чуть заметно поклонился, пробормотал «Всегда рад», поспешил к двери, остановился, повернулся, взглянул на Э с выражением смущения на лице.)

В этот момент спутник Э подошел к *И*, поприветствовал его, пожал руку и повел к столику Э. *И* остановился в нескольких шагах от столика, посмотрел в упор на Э, затем — мимо Э и начал отходить обратно к двери. Спутник сказал ему, что Э — молодая девушка, которую он пригласил позавтракать вместе с ними (затем он представил меня одному из известных физиков, столпу института!). *И* неохотно присел и замер на стуле, явно испытывая неловкость. Э улыбнулась, приветливо и вежливо расспросила его о работе, упомянула о нескольких наградах, которые ему присудили, и затем благодушно заметила, что, к ее стыду, они до сир пор не встречались лично, поэтому она ошибочно приняла его за метрдотеля. Когда спутник рассказывал о давней дружбе с Э, *И* заерзал, снова взглянул на карманные часы, протер лоб салфеткой, посмотрел на Э, но избегая ее взгляда. Когда спутник упомянул,

^{**} «Атенеум» — частный университетский клуб, расположенный в кампусе Калифорнийского политехнического института. — *Прим. перев.*

что Э изучает социологию в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, И внезапно громко захохотал, понял, что все в зале смотрят в направлении нашего столика, внезапно затих, затем сказал Э: «Вы ошибочно приняли меня за метрдотеля, я правильно понял?»

(Э) «Умышленно, сэр».

(И) «Как это умышленно?»

(Э) «Вы только что были использованы в качестве ничего не подозревающего испытуемого в эксперименте».

(И) «Дьявол! Но, должен сказать, умно, (обращаясь к нашему общему знакомому) я не получал такой встряски, с тех пор как ___ опроверг мою теорию ___ в 19__ году. У меня в голове носились безумные мысли! Вызвать портье из фойе, спрятаться в мужском туалете, отправить эту женщину к первому, кто войдет. Будь прокляты эти рано открывающиеся закусовые, никто сюда в это время не заходит! Время остановилось, или остановились мои часы. Я поговорю об этом с ___, будьте уверены, это происходит не с „кем-нибудь“. Черт, до чего же настойчивая женщина! Какой я ей „любезный“! Я доктор ___, и никто не смеет помыкать мной. Этого просто не может быть. Если я отведу ее к тому проклятому столику, который она так хочет, я смогу избавиться от нее и постараюсь обо всем забыть. Я вспомнил ___ (наследственная психопатка, жена одного из членов институтской „братии“). Может, если я сделаю то, чего хочет вот *эта*, она больше не доставит мне хлопот. А если она „того“? Она выглядит совершенно нормальной. Но кто знает?»

Демонстрация 3: Нарушение ожидания того, что знание отношений взаимодействия является общепринятой схемой коммуникации. Шюц предположил, что с точки зрения члена общества событие поведения, как и ход в игре, представляет собой событие-в-социальном-порядке. Следовательно, для члена опознаваемо реальный характер события обеспечивается восприятием его появления в свете корпуса социально санкционированного знания социальных отношений, который член использует и считает используемым другими как одну и ту же схему выражения и интерпретации.

Было принято решение нарушить это ожидание, дав студентам задание рассматривать ситуацию в качестве таковой, каковой она «очевидно» и «реально» не является. Студентам было поручено провести у себя дома от пятнадцати минут до часа, действуя так, словно они являются постояльцами. Их просили вести себя предупредительно и вежливо: держаться отстраненно, при общении соблюдать формальности, говорить только если к ним обращаются.

В девяти случаях из сорока девяти студенты либо отказались выполнять задание (пять случаев), либо их попытка была «безуспешной» (четыре случая). Четверо из «не решившихся» студентов сказали, что побоялись это делать; пятая сказала, что не рискнула волновать свою мать, у которой больное сердце. В двух из «неудачных» случаев семья сразу восприняла всё как шутку и отказалась, невзирая на продолжающиеся действия студента-экспериментатора, изменить свое отношение. Третья семья пришла к выводу, что за этим что-то кроется, но что именно — их не интересует. В четвертой семье отец и мать обратили внимание на то, что дочь «чересчур любезна» и наверняка чего-то хочет, о чем она вскоре сообщит.

В остальных 4/5 случаев члены семьи были ошеломлены, настойчиво пытались сделать странные действия понятными и восстановить нормальные проявления ситуации. Отчеты были полны сообщений об изумлении, недоумении, шоке, беспокойстве, растерянности и гневе, а также об исходивших от разных членов семьи обвинениях в том, что студент неприветлив, нагл, самолюбив, отвратителен и груб. Члены семьи требовали объяснений: «В чем дело?», «Что с тобой?», «Тебя выгнали?», «Ты болен?», «Чего это ты так нос задрал?», «Ты чего злишься?», «Ты рехнулся или просто дурак?». Один студент поставил свою мать в крайне неудобное положение перед ее подругами, спросив, не возражает ли она, если он возьмет что-нибудь перекусить из холодильника. «Не буду ли я возражать, если ты возьмешь чего-нибудь перекусить? Ты годами лазил в холодильник, не спрашивая моего разрешения!»

Что на тебя нашло?!». Одна мать, пришедшая в бешенство оттого, что ее дочь разговаривала с ней лишь когда та к ней обращалась, начала кричать, яростно обвиняя дочь в неуважении и непослушании, и даже сестра студентки не смогла ее успокоить. Отец выругал дочь за то, что ей совершенно наплевать на окружающих и что она ведет себя как избалованный ребенок.

Иногда члены семьи сначала трактовали действия студента как приглашение к привычному совместному веселью, но вскоре это сменялось раздражением и злостью на студента за то, что он не знает, «когда пора остановиться». Члены семьи передразнивали «вежливость» студента — «Разумеется, мистер Дайнерберг!» — или упрекали студента в заносчивости и, в целом, относились к этой «вежливости» с порицанием и сарказмом.

Объяснения искались в понятных предшествующих мотивах студента: его обвиняли в том, что он скрывает что-то важное, о чем семья должна знать, что он слишком много занимается в университете, что он болен, что он «опять повздорил» со своей девушкой.

После того, как объяснения не получали подтверждения, уязвленный член семьи отстранялся, пытался изолировать виновного, отплатить ему тем же и осудить. «Не трогай его, он опять не в духе». «Не обращай внимания, но пусть только он у меня чего-нибудь попросит». «Игнорируешь меня? Ладно. Я тоже буду тебя игнорировать, и еще как!». «Ну зачем ты всегда портишь нашу семейную гармонию?» Отец зашел вслед за сыном в его спальню. «Твоя мать права. Ты неважно выглядишь и несешь какую-то чушь. Лучше тебе найти другую работу, чтобы не приходилось работать допоздна». На это студент ответил, что он ценит его внимание, но чувствует себя прекрасно и лишь хочет немного побыть один. От этого отец пришел в ярость: «Не желаю больше слышать от *тебя* ничего *подобного*. Не можешь нормально обращаться с матерью, выметайся вон!»

Не было ни одного случая, когда объяснение студента не смогло исправить ситуацию. Тем не менее членов семьи это, по большей части, не веселило, и лишь в редких случаях они находили этот опыт поучительным, каким он, по заверениям студента, и задумывался. Выслушав объяснение, сестра холодно ответила от лица всех четырех членов семьи: «Пожалуйста, больше никаких экспериментов. Мы тебе не подопытные крысы». Иногда объяснение принималось, но только усиливало обиду. В нескольких случаях студенты сообщали, что объяснения оставляли их, их семьи или и тех, и других в сомнении относительно того, что именно студент говорил «по роли», а что он «действительно имел в виду».

Студенты нашли это задание трудновыполнимым, поскольку к ним не относились как к тем, роль кого они пытались исполнять, а также поскольку они сталкивались с ситуациями, реакцию постояльца на которые они не могли предугадать.

Было получено несколько совершенно неожиданных результатов. 1) Хотя многие студенты сообщали о продолжительных репетициях в воображении, лишь немногие из тех, кто это делал, упоминали о предварительном страхе или смущении. 2) Хотя дело часто принимало непредвиденный и неприятный оборот, только в одном случае студент сообщил о серьезных сожалениях. 3) Лишь очень немногие студенты сообщали, что испытали искреннее облегчение по окончании часа. Гораздо чаще сообщалось о частичном облегчении. Нередко сообщалось, что в ответ на гневные выпады окружающих они тоже сердились и легко скатывались к субъективно привычным чувствам и действиям.

Демонстрация 4: Нарушение схватывания «того, что известно каждому» как правильных оснований для действия в реальном социальном мире. Из возможностей, которые студент подготовительного медицинского отделения мог бы рассматривать в качестве правильных оснований для своих дальнейших выводов и действий в связи с такими вопросами, как форма проведения вступительного собеседования в медицинском институте или связь поведения абитуриента с его шансами поступить, некоторые возможности (например, то, что подстраивание под интересы интервьюера является условием создания благоприятного впечатления) он рассматривает в качестве того, что ему необходимо знать и на что нужно направлять усилия как на условие своей компетентности в качестве кандидата

на поступление в медицинский институт. Он ожидает, что другие, как и он, будут знать то же самое и действовать соответственно, а также ожидает, что как он ожидает от других подобных знаний и действий, так и другие, в свою очередь, ожидают их от него.

Была разработана процедура нарушения конститутивных ожиданий, связанных с «тем-что-известно-каждому-компетентному-кандидату-на-поступление-в-медицинский-институт», удовлетворяющая трем условиям, при которых их нарушение, предположительно, вызвало бы замешательство.

Двадцать восемь студентов подготовительного медицинского отделения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе прошли индивидуальное трехчасовое экспериментальное собеседование. Чтобы расположить испытуемого к себе и начать собеседование Э называл себя представителем одного из медицинских институтов с восточного побережья, пытающимся выяснить, почему вступительные собеседования в мединститутах вызывают такой сильный стресс. Ожидалось, что идентификация Э как человека, связанного с медицинским институтом, минимизирует шансы студентов «покинуть поле» сразу после начала применения откровенно нарушающей процедуры. Каким образом были удовлетворены два других условия — а) переопределение в ситуации нехватки времени и б) отсутствие возможности заручиться консенсусной поддержкой альтернативного определения социальной реальности, — станет ясно из нижеследующего описания.

На протяжении первого часа собеседования студент излагал факты, касающиеся приемных собеседований в медицинских институтах, отвечая «представителю» на такие вопросы: «Какие источники информации о кандидате доступны для медицинских институтов?», «Что медицинский институт может узнать о кандидате из этих источников?», «Какого рода людей отбирают медицинские институты?», «Как должен хороший кандидат вести себя на собеседовании?», «Чего ему следует избегать?» По окончании студенту говорилось, что исследовательские интересы «представителя» удовлетворены. Далее студента спрашивали, не хотел бы он прослушать аудиозапись реального собеседования. Все студенты выразили огромное желание услышать запись.

Запись содержала сфабрикованную беседу между «интервьюером из мединститута» и «поступающим». Поступающий выставлялся грубияном, его язык был полон грамматических ошибок и изобилует разговорными выражениями, он уходил от ответов, пререкался с интервьюером, хвастался, пренебрежительно отзывался о других институтах и профессиях, заявлял, что заранее знает результаты данного собеседования, и т. д.¹⁰

Сразу после проигрывания записи студента просили дать подробную оценку услышанного. Следующая отредактированная оценка является характерной: «Мне не понравилось. Мне не понравилась его установка. Он мне вообще не понравился. Все, что он говорил, бесило. Мне не понравилось, что он курил. А как он говорил „Да-а!“ Он ничем не показал, что понимает, что его будущее в руках интервьюера. Мне не понравилось, что он уклончиво отвечал на вопросы. Мне не понравилось, как он начал давить на интервьюера в конце собеседования. Он вел себя неуважительно. Его мотивы были совершенно очевидны. Он всё испортил. Он провалился, мягко выражаясь... Его ответы на вопросы были глупыми. Кажется, интервьюер говорил ему, что у него нет шансов поступить. Мне не понравилось это собеседование. Мне показалось, что оно чересчур неформальное. В некоторой степени хорошо, когда всё естественно, но... на собеседовании нельзя фамильярничать. Здесь не место для болтовни. У него были довольно хорошие оценки, но... он не интересовался ничем вне института и не сказал ничего о том, чем он занимался в нем. Получается, он не сделал ничего особенного — за пределами этой лаборатории. Мне этот парень совсем не понравился. Никогда не встречал подобных абитуриентов! „Приятель“ — один из примеров этого пустословия. Я никогда не встречал *таких* людей. Не-Туда Корриган*».

¹⁰ Подлинную стенограмму собеседования можно получить по запросу у автора.

* Дуглас Корриган (1907–1995) по прозвищу «Не-Туда» — американский авиамеханик, в 1938 г. по ошибке перелетевший Атлантический океан, поскольку направлялся из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, но неправильно интерпретировал показания компаса. — *Прим. перев.*

Затем студенту предоставляли информацию из «досье» поступающего. Информация была намеренно подобрана так, чтобы противоречить основным моментам высказанной студентом оценки. Например, если он говорил, что семья поступающего, скорее всего, принадлежит к низшему классу, ему говорили, что отец поступающего является вице-президентом фирмы, выпускающей пневматические двери для поездов и автобусов. Если студент считал поступающего малообразованным, говорилось, что тот с отличием сдал экзамены по таким курсам, как «Поэзия Мильтона» и «Драмы Шекспира». Если студент говорил, что поступающий не умеет ладить с людьми, сообщалось, что тот участвовал в волонтерской программе по сбору пожертвований для Сиденхемской больницы в Нью-Йорке и собрал 32.000 долларов у тридцати «крупных благотворителей». Если высказывалось убеждение, что поступающий глуп и не сможет ничего добиться в науке, заявлялось, что он имеет высшие баллы по органической и физической химии и на курсе по научному исследованию его показатели были на уровне аспирантов.

*И*е очень хотели знать, что думали о претенденте «другие» и был ли он принят. Перед этим «представитель» мимоходом упоминал «других»: «доктора Гарднера, интервьюера из мединститута», «шесть членов приемной комиссии, профессиональных психиатров, знакомых только с записью собеседования» и «других студентов, с которыми я разговаривал».

И сообщалось, что поступающий был принят и оправдал те ожидания, которые были сформулированы и изложены интервьюером из мединститута и «шестью психиатрами» в следующей рекомендации, касающейся характерологической пригодности поступающего: «Доктор Гарднер, интервьюер из мединститута, написал: „Воспитанный, вежливый молодой человек, уравновешенный, доброжелательный, уверенный в собственных силах. Способен к самостоятельному мышлению. Интересы носят достаточно специализированный характер. Выраженная интеллектуальная любознательность. Рассудителен, не поддается эмоциям. Выраженная зрелость манер и мировоззрения. Легко идет на контакт. Сильно мотивирован на медицинскую карьеру. Ясно представляет, чего хочет достичь, при этом четко видит перспективу. Безусловная искренность и честность. Высказывает свои мысли легко и внятно. Рекомендую решить вопрос благоприятно“. Шесть психиатров, членов приемной комиссии согласились по всем основным пунктам».

Что касается мнений «других студентов», *И* сообщалось, что он был, например, тридцатым студентом, с которым я встречался, и что перед ним двадцать восемь человек полностью согласились с оценкой интервьюера из мединститута, а остальные двое были не до конца уверены, но, начав знакомиться с информацией, сразу отнеслись к нему так же, как и остальные.

Затем *И*м предложили прослушать запись во второй раз, после чего их попросили вновь оценить поступающего.

Результаты. На уловку попались двадцать пять из двадцати восьми испытуемых. Нижеследующее не относится к трем испытуемым, которые были убеждены, что их обманывают. Двое из них обсуждаются в конце этого раздела.

Противоречащий материал, предъявляемый *И* в вышеозначенном порядке, содержал информацию о достижениях и характерологическую информацию. Информация о достижениях касалась деятельности претендента, оценок, семейного происхождения, пройденных учебных курсов, работы в сфере благотворительности и т. п. Характерологическая информация включала характеристики, которые ему дали «интервьюер из медицинского института», «шесть профессиональных психиатров-членов приемной комиссии» и «другие студенты».

Испытуемые справлялись с несоответствиями в данных о достижениях с помощью энергичных попыток сделать их фактуально совместимыми со своими первоначальными оценками. Например, когда они говорили, что поступающий, судя по его речи, из низшего класса, им говорилось, что его отец — вице-президент национальной корпорации,

производящей пневматические двери для поездов и автобусов. Вот несколько типичных реакций:

«Ему надо было подчеркнуть, что он *может* рассчитывать на деньги».

«Это объясняет, почему он говорил, что ему приходится работать. Вероятно, отец заставил его найти работу. И поэтому большинство его жалоб необоснованны в том смысле, что дела обстоят не так уж плохо».

«Но какое это имеет отношение к ценностям?!»

«Это было видно по его ответам. Было видно, что он привык все делать по-своему».

«Интервьюер знал об этом, а я — нет».

«Тогда он полнейший лжец!»

Когда *И*е говорили, что поступающий эгоистичен и не умеет ладить с людьми, им сообщалось, что он участвовал в волонтерской программе по сбору пожертвований для Сиденхемской больницы и собрал 32.000 долларов у тридцати «крупных благотворителей».

«У него, видимо, талант продавца. Так что, возможно, он пошел не в ту профессию. Я бы сказал, что он *определенно* пошел не в ту профессию!»

«Вероятно, они давали деньги ради благотворительности, а не потому, что их уговорили».

«Вот это да. Чудесно. Может, он знал их лично?»

«Очень модно, например, во время войны работать в программе „Пожертвования для Британии“. Так что это — уж точно! — не говорит ни о каких альтруистических мотивах. Он — один из тех, кто следует моде, а я отношусь к этому очень скептически».

«Он такой напористый, что, наверное, пристыдил их и заставил раскошелиться».

«Люди при деньгах... а его отец, естественно, был знаком с такими людьми... крупные благотворители... они могли дать кучу денег, не зная, на что они их дают».

То, что его средний бал по естественнонаучным курсам был наивысшим, начинало вызывать растерянность.

«У него было довольно много разных курсов... Я озадачен... Вероятно, во время собеседования не очень хорошо раскрылся его характер».

«Наверное, он посещал какие-то странные курсы. Что вполне нормально. Не то чтобы нормально... но... в любом случае, меня это не удивляет».

«Ну и ну! Думаю, это можно проанализировать так. С точки зрения психологии. Скажем... один из возможных способов... сейчас я могу *ошибаться*, но так я *это* понимаю. Он, вероятно, страдал комплексом неполноценности, и это сверхкомпенсация его комплекса неполноценности. Его *отличные* отметки... его *хорошие* отметки — это компенсация его неудач... возможно, в общении, я не знаю».

«Вот те на! И только третий кандидат в Джорджии. (Глубокий вздох) Теперь мне ясно, почему он был обижен на то, что его не приняли в „Фи Бета“».

(Долгое молчание) «Ну и ну! Из того... это наводит меня на мысль, что он зубрила или что-то в этом роде».

Попытки разрешить несоответствия, вызванные характеристикой «Гарднера» и «других шести экспертов», предпринимались гораздо реже, нежели попытки нормализовать информацию о достижениях. Наиболее частыми были выражения недоумения и беспокойства, перемежавшиеся раздумьями.

(Смех) «Черт побери!» (Молчание) «Я думал, всё наоборот»... (Очень подавленно) «Может, я совер... Я потерял ориентацию. Я полностью сбит с толку».

«Не вежливый. Он был самоуверенный, это точно. Но не вежливый... Не знаю. То ли интервьюер немного того, то ли я». (Долгая пауза) «Я в смятении. Это заставляет усомниться в своих мыслительных способностях. Может, у меня неправильные жизненные ценности, не знаю».

(Присвистывает) «Мне... мне и в голову не пришло, что он производит впечатление хорошо воспитанного человека. Весь этот тон!! Я... может, вы заметили, когда он сказал: „Вам следовало сообщить об этом сразу“, а потом посмеялся над этим... Но даже если так! Нет, ничего не могу понять. „Вам следовало сказать об этом раньше“. Может, он хотел пошутить. Сделать... Нет! Мне это показалось наглостью!».

«Уф... Да уж, это определенно меняет мои представления о собеседовании. Вот так так... это... запутывает меня еще больше».

«Да уж... (смех)... Хм!.. Уф! Ну, может, он выглядел славным парнем. Он... он четко излагал мысли... Возможно... если видишь человека, это совсем другое дело... Или, возможно, из меня никогда не выйдет хорошего интервьюера». (Задумчиво и еле слышно) «Они не упомянули ничего из того, что упомянул я». (ГГ: Что-что?) (Громче) «Они не упомянули ничего из того, что упомянул я, и поэтому у меня такой чувство, что я ни на что не годен».

Иногда вскоре после того, как данные о достижениях вызывали ступор, следовал запрос: «А что говорили о нем другие студенты?» Мнения «других студентов» приводились только после того, как сообщалась оценка Гарднера и поступали реакции на нее. В некоторых случаях испытуемому говорили «34 из 35 до вас согласились», в других случаях — 43 из 45, 19 из 20, 51 из 52. Все числа были большие. Реплики 18 из 25 студентов почти ничем не отличались от следующих дословных протоколов:

[34 из 35] Не знаю... Я все равно остаюсь при своем исходном убеждении. Я... я... Вы можете сказать *мне*, что... я увидел неправильно? Может... я... у меня было неправильное представление... неправильная установка в целом. (Не могли бы вы рассказать об этом? Мне интересно, откуда такое расхождение.) Несомненно. Я... думаю... всё, несомненно, было иначе... Не могу разобраться. Я совершенно сбит с толку, поверьте. Я... я не понимаю, как я мог так ошибиться. Возможно, мои представления... мои оценки людей... просто неверны. Я хочу сказать, может, я неправильно... может, мое восприятие ценностей... какое-то... не... такое... или... иное... чем у других тридцати трех. Но я не думаю, что это так... потому что обычно... и я ничуть не хвастаюсь... я... я разбираюсь в людях. Ну, то есть, в учебной группе, в организации, в которой я работаю... я обычно правильно их оцениваю. Поэтому я *вообще* не понимаю, как я мог так ошибиться. Не думаю, что на меня что-то давило или напрягало... здесь... вечером, но... я не понимаю этого.

[43 из 45] [Смех] Не знаю, что теперь и сказать... Меня беспокоит, что я не мог оценить этого парня лучше, чем я сделал. [Подавлен] Сегодня надо будет хорошенько выспаться, это точно... [очень подавлен] но это определенно меня нервнует... Простите, что я не... *Ладно!* Возникает один вопрос... я могу быть не прав... (Вы понимаете, почему они так отнеслись к нему?) Нет. Нет, я не понимаю этого, нет... Конечно, имея на руках все эти сведения о происхождении, да, но я не понимаю, как Гарднер сделал это без них. Что ж, думаю, это и делает Гарднера Гарднером, а меня мной. (Остальные 45 студентов не располагали сведениями о происхождении.) Да, да, да. Я хочу сказать, я этого вовсе не отрицаю. Я имею в виду для меня, бессмысленно говорить... Конечно! С их происхождением их бы приняли, особенно второго, господи!.. О'кей, что еще?

[23 из 25] [Еле слышно] Наверное, я устал. (ГГ: Что-что?) [Взрыв смеха] Наверное, я не выпался прошлой ночью... Уф!.. Ну... возможно, я искал не то, что искали другие... Я не... вот черт!.. Не знаю что и думать, честное слово.

[10 из 10] Значит я один так думаю. Ну, не знаю, сэр! Не знаю, сэр!! Я не могу этого объяснить. Бессмыслица какая-то... Я с самого начала старался быть беспристрастным. Признаю, я сразу был предвзятым.

[51 из 52] Вы хотите сказать, что остальные пятьдесят один тоже попали в точку? (Попали в точку в том смысле, что восприняли его так же, как и члены комиссии.) Гм. [Глубокий вздох] Я все еще не... Ну да! Понятно. Но просто выслушав его, я не думаю, чтобы он был... очень хорошим выбором. Но в свете всего остального, что касается его, мне кажется, что собеседование не... показывало... его... таким какой он... есть... на самом деле... Уф-ф!

[36 из 37] Я бы вернулся к своему прежнему мнению, но не стал бы заходить слишком далеко. Я просто не понимаю этого... Почему у меня другие стандарты? Мое мнение более-менее совпадало с мнением о первом парне? (Нет.) Тогда я должен подумать... Забавно. Если только вам не подалось тридцать шесть чудачков. Не понимаю. Может, дело в моей личности. (А это имеет какое-то значение?) Это *имеет* значение, если я допускаю, что они правы. То, что я считаю верным, они не считают... Это моя установка... И все-таки, люди такого сорта меня отталкивают, зазнайки, от которых надо держаться подальше. Конечно, можно разговаривать подобным образом с другими парнями... но на собеседовании?.. Теперь я еще больше запутался, чем в начале собеседования. Думаю, мне следует пойти домой, посмотреть в зеркало и поговорить с собой. Как вы думаете? (Почему? Это вас расстраивает?) Да, это *очень* меня расстраивает! Это заставляет меня думать, что я не способен нормально оценивать людей и ценности. Это нездоровая ситуация. (Это что-то меняет?) Если я и в самом деле так веду себя, то я просто засовываю голову в львиную пасть. У меня были соображения, но они разбиты вдребезги. Я не знаю, что и думать о себе. Почему у меня другие стандарты? Всё упирается в меня.

Из двадцати пяти *И'х*, попавшихся на уловку, семь не смогли справиться с несоответствием своего ошибочного представления о столь очевидном предмете и не сумели «разглядеть» альтернативу. Их страдания были драматичными и непреодолимыми. Еще пятеро преодолели затруднение за счет той точки зрения, что мединститут принял хорошего человека; пятеро других — за счет той точки зрения, что институт принял грубияна. Хотя и предприняв некоторые изменения, они, тем не менее, не отказались от своих прежних взглядов. Они способны были понять точку зрения Гарднера «в общем», однако их отношению не хватало убедительности. Когда внимание переключалось на частности, общая картина размывалась. Эти *И'е* готовы были принять и использовать «общую» картину, но испытывали страдания всякий раз, когда в поле зрения попадали неудобные подробности той же самой картины. Принятие «общей» картины сопровождалось воспроизведением характеристик, которые не только противоречили характеристикам, отмеченным в первоначальной оценке, но и усиливались с помощью прилагательных в превосходной степени, таких как: «в высшей степени» уравновешенный, «совершенно» естественный, «крайне» уверенный, «очень» спокойный. Кроме того, они рассматривали новые черты сквозь призму нового понимания того, как медик-экзаменатор слушал поступающего. Например, они видели, что экзаменатор улыбнулся, когда поступающий забыл предложить ему сигарету.

Еще трое *И'х* были убеждены, что их обманывают, и на протяжении всего собеседования действовали исходя из этого убеждения. Они не проявляли ни малейшего беспокойства. Двое из них крайне мучительно восприняли окончание собеседования, и их отпустили, не

сообщив, что это был обман. Еще трое выражали свои страдания непроизвольно и молча, чем ставили в тупик Э. Ничем не показывая этого Э, они рассматривали собеседование как эксперимент, в котором их попросили решать определенные задачи и, следовательно, делать это как можно лучше и не менять своего мнения, поскольку только в этом случае они помогут исследованию. Мне было трудно понять их во время собеседования, поскольку они проявляли заметное беспокойство, при том что их высказывания были вежливыми и не касались вещей, которые его провоцировали. Наконец, еще трое *И*'х отличались от остальных. Один из них настаивал на том, что характерологические оценки семантически двусмысленны и что, ввиду недостатка информации, вынести «высоко коррелятивное мнение» невозможно. Вторым — единственным из всей совокупности — нашел, согласно его объяснению, вторую картину столь же убедительной, как и первоначальную. Когда обман был раскрыт, его расстроило то, что он мог быть настолько уверен. Третий, узнав всю правду, выказал лишь незначительное и крайне непродолжительное беспокойство. Однако он был единственным среди испытуемых, кто уже проходил собеседование в медицинском институте; у него были превосходные контакты; несмотря на средний балл ниже «удовлетворительно», он оценивал свои шансы на поступление как высокие; наконец, он заявил, что предпочитает дипломатическую карьеру медицинской.

Заключительное наблюдение: двадцать два из двадцати восьми *И*'х выразили заметное облегчение — десятеро в весьма бурных выражениях, — когда я раскрыл обман. Все они в один голос заявили, что новость об обмане позволяет им вернуться к своим прежним взглядам. Семерых *И*'х пришлось убеждать в том, что их обманули. После раскрытия обмана они спрашивали, чему им теперь верить. Может, я сказал им, что это был обман, чтобы успокоить? Прилагались все усилия и говорилось всё, что необходимо, истина или ложь, чтобы заставить их поверить в то, что это был обман.

Замечания о некоторых модификациях установки повседневной жизни

Установка повседневной жизни наделяет воспринимаемую среду человека определением среды известных сообществ социальных реалий. Социологи обозначают эту среду с помощью термина «общая культура». Установка повседневной жизни конституирует институционализированное общее понимание практической повседневной организации и рабочих операций общества, увиденного «изнутри». Модификации ее пресуппозиций модифицируют тем самым реальные среды членов общества. Такого рода модификации преобразуют одну социально определенную среду реальных объектов в другую среду реальных объектов.

Одна из таких модификаций предполагает обучение ей. Для новорожденного это означает расширение мира, в олдсовском [20] и парсоновском [22] смысле расширения систем объектов, а также поступательно осуществляемое и осуществимое согласие «развивающегося члена общества» с установкой повседневной жизни как «способом восприятия», присущим компетентному члену общества.

Вторая модификация заключается в церемониальном преобразовании одной среды реальных объектов в другую. Мы упоминали выше, что подобные модификации происходят в процессе игры, в ходе посещения театра, во время религиозного обращения, при «конвенционализации» и в ходе научного исследования. Если в каждом из этих случаев спрашивается, куда человек «уходит» или куда его «призывают вернуться», когда он «перестает играть», или его убеждают «прекратить игру», когда он «покидает театр», или его убеждают «перестать прикидываться и быть самим собой», когда он «отступает» от своих религиозных обетов, или подвергается критике за чрезмерную добродетельность, когда он «сбрасывает праздничное одеяние» или получает предупреждение о том, что «праздник окончен», когда он «забывает на время о своей научной проблеме», или получает упрек в том, что он «витаает в облаках», — в каждом из этих случаев он возвращается к «обычной жизни» или от него ожидают предоставления свидетельств схватывания им

институционализированного общего понимания организации и рабочих операций обыденного общества, т. е. его «практических обстоятельств».

Третья модификация заключается в инструментальных преобразованиях реальных сред объектов при экспериментально вызванном психозе, крайней усталости, острой сенсорной депривации, употреблении галлюциногенных наркотиков, повреждениях мозга и т. п. Каждому из этих случаев соответствует модификация, с одной стороны, пресуппозиций и, с другой, социальных структур, которые производятся действиями, ориентированными на эти модифицированные среды. Например, испытуемые, которым давали лизергиновую кислоту в клинике для больных алкоголизмом при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, часто реагировали на просьбы экспериментатора описать, что они видят в комнате, категорическим отказом, заявляя, что его вопросы банальны и свидетельствуют о том, что он глуп и никогда не сможет по достоинству оценить то, что они видят, даже если они возьмут на себя труд попытаться это ему прояснить. Анализ взаимодействия с использованием бейлсовских процедур подсчета* варьировался бы соответственно.

Четвертая модификация заключается в «открытии культуры» антропологами и социологами. Это открытие представляет собой открытие изнутри общества обыденного знания социальных структур и попытку рассмотреть обыденное действие и обыденное знание как предметы исключительно теоретического общественно-научного интереса. Модификация установки и объектов обыденных действий обнаруживается в попытках социологов обеспечить в установке и методах процедуры, посредством которых обыденные установка, действия и знание социальных структур помещаются под юрисдикцию социологической теории как определения их существенных черт. Тем самым в своих идеях, если не — или, возможно, пока еще не — в своих актуальных практиках, социологи поставили перед собой задачу открыть исторически новое и беспрецедентное определение «реальных социальных структур». Поскольку обыденные действия и среды являются одновременно темой и чертой социологических изысканий, забота об описании актуальных черт установки и методов социологии как возможных модификаций установки и методов обыденности, т. е. «открытие культуры», реконструирует проблемы социологии знания и со всей серьезностью помещает их в самый центр социологического предприятия.

В своем очерке «Чужак» [13] Шюц обсудил пятую модификацию, которую он описал как неспособность пресуппозиций установки «выдержать проверку». Для Шюца чужаком был тот, чьи попытки приписать подразумеваемому смыслу актуальных проявлений атрибуции установки повседневной жизни приводят к ситуациям хронической «ошибки». Он становится, говорит Шюц, тем, кто вынужден сомневаться едва ли не во всём, что кажется очевидным членам той группы, членом которой он стремится стать. Его прежде непроблематичные схемы интерпретации перестают работать и не могут использоваться в качестве схем ориентации в новом социальном окружении. Ему трудно применять культуру мы-группы в качестве схемы ориентации, поскольку он не способен ей доверять. Для него не существует того единства культурного паттерна, которое наблюдается среди членов мы-группы. Он обречен постоянно осознавать свои интересы, при этом неизбежно решая задачу преодоления фундаментальных расхождений между своим собственным и присущим окружающим способом восприятия ситуаций и обращения с ними. Ситуации, в которых члены мы-группы разбираются с первого взгляда, при этом также видя подходящий рецепт управления ими, для него специфически проблематичны, а их смысл или последствия — не очевидны. С точки зрения члена мы-группы, чужак — это человек без истории, и, что важнее всего, его кризис — это его личный кризис.

Говоря языком настоящей статьи, для чужака воспринимается нормальные проявления его сцен взаимодействия специфически проблематичны. Чужак — это человек, чье право

* В 1950 году в своей работе «Анализ процесса взаимодействия: метод исследования малых групп» американский социолог Роберт Ф. Бейлс (1916–2004) предложил процедуру изучения и подсчета коммуникативных паттернов в малых группах, которая состоит в фиксации частоты появления 12 «ходов», разбитых на 4 категории. — *Прим. перев.*

принимать решения относительно осмысленности, объективности и достоверности без вмешательства других, т. е. чью компетентность ни он сам, ни другие не могут считать само собой разумеющейся.

Поскольку каждая из пресуппозиций приписывает среде актора некоторую черту, свидетель может испытать неприятное удивление в связи с каждой из них. Следовательно, существует и шестая модификация. Можно экспериментально вызывать нарушение этих суппозиций, целенаправленно модифицируя сценические события так, чтобы систематически опровергать эти атрибуты. В итоге среда атрибутирующего делается для него странной и он, соответственно, вынужден воспринимать себя и действовать в присутствии других в качестве чужака.

Радикальная версия этой модификации состоит в делании пресуппозиций установки повседневной жизни недействительными. Процедура со студентами подготовительного медицинского отделения была направлена как раз на такого рода модификацию. Несмотря на недостатки этой демонстрации, она, тем не менее, предоставляет модель для формулирования проблематичных феноменов «отчуждения», «аномии», «девиации» и «дезорганизации» с использованием обыденно упорядоченных и упорядочивающих рутинных повседневных действий и их объектов в качестве отправной точки.

Для краткого прояснения мы можем вспомнить, сколь серьезному риску подвергаются люди, чьи проявления нарушают атрибуты установки повседневной жизни — неважно, совершают ли они это в целях эксперимента или, подобно психопату, как элемент привычного поведения. Из статуса воспринимаемого компетентного — в своих глазах и в глазах других — члена, т. е. из статуса добросовестного члена, он может перейти или быть переведен людьми, для которых эти атрибуты по-прежнему имеют силу, в любой из тех статусов, которые каждое общество отводит для тех, кому «недостает здравого рассудка». Любой родной язык предусматривает диапазон социальных типов, которые не признают этих атрибуций или для которых эти атрибуты, как считается, не имеют силы: обычно это дети, молодежь, старики, аутсайдеры, грубияны, дураки, невежды и варвары. Основными институционализированными статусами тех, кому недостает здравого рассудка, являются альтернативные статусы преступности, болезни, аморальности или некомпетентности. С организационной точки зрения те, кому недостает здравого рассудка, не только не вызывают доверия, но и сами его не выражают. Можно было бы предварительно определить достойного доверия и доверяющего человека как того, кто справляется с расхождениями в отношении этих атрибуций так, чтобы поддерживать публичные демонстрации уважения к ним.

То, что модификации установки повседневной жизни включают такие возможности, как обучение ей, ее церемониальные и инструментальные преобразования, ее открытие, а также ее нарушение или делание недействительной, отводит ей ключевое место в любой попытке объяснения стабильных, устойчивых, преемственных, единообразных социальных взаимодействий.

Рассматривая модификации установки повседневной жизни и ее мира, начинаешь ощущать, почему тема обыденного мышления была главной во всех крупных философских системах. Можно также ощутить, почему феномен обыденного мышления, действий и знания столь упорно присутствует и столь сильно идеализируется и отстаивается во всех стабильных группах. Однако очевидно, что подобное ощущение только указывает на обыденные установки и среды как на проблематичные феномены. Само по себе оно не формулирует проблему. Огромная заслуга Шюца как социолога состоит, помимо прочего, в том, что он проделал фундаментальную работу, позволяющую социологам сформулировать данную проблему. В настоящей статье была предпринята попытка взяться за решение этой задачи.

Перевод с английского Андрея Корбута

Литература

1. Вебер М. Социальная психология мировых религий / Пер. с нем. М. И. Левиной // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. М.: Наука, 1996. С. 441–468.
2. Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд / Пер. с фр. А. Н. Ильинского. СПб.: Издание Н. П. Карбасникова, 1912.
3. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение / Пер. с англ. А. А. Корбут, В. В. Малинникова и др. М.: Наука, 1970.
4. Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения / Пер. с англ. Р. Л. Добрушина и А. А. Юшкевича. М.: Иностранная литература, 1952.
5. Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня / Пер. с нидерл. В. В. Ошиса. М.: Прогресс, 1992.
6. Шпигельберг Г. Феноменологическое движение: историческое введение / Пер. с англ. К. Чухрова, Т. Дмитриева и др. М.: Логос, 2002.
7. Шюц А. Обыденная и научная интерпретация человеческого действия / Пер. с англ. Н. М. Смирновой // Шюц А. Избранное: мир светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 7–50.
8. Шюц А. Формирование понятия и теории в социальных науках / Пер. с англ. Н. М. Смирновой // Шюц А. Избранное: мир светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 51–68.
9. Шюц А. Проблема рациональности в социальном мире / Пер. с англ. В. Г. Николаева // Шюц А. Избранное: мир светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 69–96.
10. Шюц А. Выбор между проектами действия / Пер. с англ. В. Г. Николаева // Шюц А. Избранное: мир светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 116–148.
11. Шюц А. Основные понятия феноменологии / Пер. с англ. Н. М. Смирновой // Шюц А. Избранное: мир светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 161–179.
12. Шюц А. О множественных реальностях / Пер. с англ. В. Г. Николаева // Шюц А. Избранное: мир светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 401–455.
13. Шюц А. Чужак / Пер. с англ. В. Г. Николаева // Шюц А. Избранное: мир светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 533–549.
14. Шюц А. Символ, реальность и общество / Пер. с англ. В. Г. Николаева // Шюц А. Избранное: мир светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 456–530.
15. Шюц А. Смысловое строение социального мира / Пер. с нем. С. А. Ромашко // Шюц А. Избранное: мир светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 687–1022.
16. Coates R. M. The Law // The New Yorker. 1947. November 29.
17. Hallowell A. I. The Self and Its Behavioral Environment // Culture and Experience. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1955. P. 75–110.
18. Kaufmann F. Methodology of the Social Sciences. N.Y.: Oxford University Press, 1944.
19. Kling F. R. Chess with Traitors. 1958. (Неопубликованная рукопись).
20. Olds J. The Growth and Structure of Motives. Glencoe, Ill.: Free Press, 1958.
21. Parsons T. The Superego and the Theory of Social Systems // Working Papers in the Theory of Action / T. Parsons, R. F. Bales, E. A. Shils (eds.). Glencoe, Ill.: Free Press, 1953. P. 13–29.
22. Parsons T. Family Structure and the Socialization of the Child // Family, Socialization and Interaction Process / T. Parsons, R. F. Bales (eds.). Glencoe, Ill.: Free Press, 1955. P. 35–131.
23. Parsons T., Shils E. A., Naegele K. D., Pitts J. Theories of Society. N.Y.: Free Press, 1961.
24. Schilder P. Psychoanalysis, Man and Society. N.Y.: Norton, 1951.

РЕЦЕНЗИИ

Никита Харламов*

Ольга Шевченко. Кризис и повседневность в постсоциалистической Москве.
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2009. xiv + 242.

Olga Shevchenko. *Crisis and the Everyday in Postsocialist Moscow*.
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2009. xiv + 242.

Аннотация. Рецензируемая книга основана на этнографическом исследовании в Москве в конце 1990-х годов. Автор анализирует феномен «кризис», становящийся для жителей Москвы доминирующей схемой интерпретации мира, и показывает, как эта схема функционировала в обыденных процессах осмысления мира и в обыденных практиках повседневной жизни. Особое внимание уделяется феномену автономии домохозяйства как социальной единицы. В рецензии очерчиваются основные положения книги и обсуждается ее важность для понимания повседневной жизни в постсоциалистическом метрополисе. Делаются два основных критических замечания: о недостатке обсуждения Москвы как городской среды и ее специфики в рамках России; и о проблеме автономии как автономии относительно государства по сравнению с автономией относительно общества.

Ключевые слова. Кризис, повседневная жизнь, постсоциалистическая Москва, практика, смысл

1990-е годы навсегда останутся в памяти жителей России как время разрушенных иллюзий, несбывшихся мечтаний, крушения жизненных планов и перспектив. Последнее десятилетие XX века стало временем, когда человеку приходилось адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам и «оставаться на плаву» в обстановке неуверенности и непредсказуемости. Еще долго слова «реформа», «модернизация», «трансформация» будут ассоциироваться с тяготами и даже трагедиями – как общественными, так и семейными и личными. Слово «кризис» для российского человека уже более 20 лет является привычным способом описания окружающего мира и происходящих событий.

Перестроечно-постсоциалистическое «долгое десятилетие» постепенно переходит из актуального «вчера» в область современной истории. Сегодня становится возможным и необходимым критическое исследование событий и процессов, которые оформляли новый социальный порядок постсоветской России. Об экономических реформах и политическом транзите, ценностных сдвигах, общественном мнении, изменениях в культуре написано очень много. Тем более заметно, насколько малоизученной остается повседневная жизнь – то, как обычные люди «прокладывали свои тропы» в опасных условиях изменившейся культурной и хозяйственной среды. В книге «Кризис и повседневность в постсоциалистической Москве» Ольга Шевченко, доцент Колледжа Уильямс (Массачусетс, США), приоткрывает одну из сторон постсоветской повседневности – функционирование понятия «кризис» как стержня медийной и интеллектуальной риторики и его преобразование в основу целостной интерпретативной схемы. Большая часть книги посвящена тому, как эта интерпретативная схема использовалась москвичами для осмысления происходящих в стране и в их собственной жизни событий и для выстраивания стратегий поведения, рождавших обыденные жизненные практики. На фундаменте этой схемы складывались формы социальности и специфическое понимание автономии социальных субъектов –

* Харламов Никита Алексеевич – стажер-исследователь Центра фундаментальной социологии ИГИТИ ГУ-ВШЭ

© Центр фундаментальной социологии, 2009

© Харламов Н., 2009.

автономии, единицей которой служит семья, а точнее, расширенно понимаемое домохозяйство.

Базой для аргументов Шевченко является анализ понятия «кризис», которое она рассматривает через сопоставление внезапного кризисного разрыва нормальной жизни и долгосрочных кризисных ситуаций, когда «хронический кризис может стать самой сущностью идентичности сообщества, способом жизни и путем самоосмысления, вне которого сообщество как таковое невысказуемо» (р. 3). В обсуждении «тотальных кризисов» (total crises) автор опирается на работы Кая Эриксона, выдающегося социолога катастроф, в частности, «хронических катастроф» (chronic disasters). Шевченко предлагает рассматривать «тотальные кризисы» как феномены, динамика и последствия которых в корне отличаются от динамики и последствий внезапных кризисов. Основным интересом для нее представляет тот факт, что в условиях тотального кризиса, продолжавшегося более десятилетия, люди проявляли специфические формы активности и деятельного приспособления к обстоятельствам. Существование тотального кризиса автор описывает так: «кризис эволюционирует от единичного и чуждого события до самой ткани повседневной жизни, непосредственного контекста решений и действий и, после некоторой точки, единственной реальности, для обращения с которой у индивидов есть социальные и культурные инструменты» (р. 2). Она принимает культурно-ориентированное определение повседневной жизни как «всей деятельности, основанной на повседневном знании, на представлениях, которые широко распространены в современных российских условиях и, как правило, не подвергаются сомнению» (р. 5) и фокусирует исследование на «кризисе как доминирующей схеме интерпретации мира» (crisis as a dominant framework of interpretation, p. 11) жителей Москвы.

На протяжении восьми глав книги Шевченко переходит от выделения изменяющейся риторики «кризиса» в российских средствах массовой информации и интеллектуальном дискурсе к изучению восприятия этой риторики обычными людьми. У этих людей формируется специфический тип способов интерпретации мира, своего рода габитус, который они воплощают в практике создания и поддержания домохозяйства как единицы жизни, параллельной общественности и государству. Шевченко обсуждает практики заработка, потребления, поддержания социальных связей, получения услуг и исследует более широкие последствия функционирования кризисной интерпретативной схемы.

Опираясь на анализ прессы («толстых» журналов, ежемесячных и еженедельных газет) и на интервью с экспертами (видными публичными интеллектуалами и аналитиками), автор прослеживает развитие представлений о «кризисе»: от риторики кризиса позднего социализма (в свою очередь, восходящего к более ранней идее «кризиса буржуазного Запада») к риторике кризиса постсоциалистического перехода и политических и экономических реформ. Как пишет Шевченко, суть обыденного восприятия этой риторики заключалась в том, что «кризис находился в паутине связей, которые люди усматривали между разрозненными проявлениями постсоциалистического упадка» (р. 43). Она указывает на распространенность восприятия личных успехов как следствия «удачи», «счастливого шанса» вопреки неблагоприятным обстоятельствам, рассматривая это как признак тотальности «кризиса» как способа интерпретации мира. Говоря о зарождении «кризисного габитуса» и его связи с солидарностью и социальными взаимодействиями, Шевченко отмечает гибкость образа тотального кризиса, который «не только предоставлял людям риторическую традицию, в которой можно высказывать свои жалобы на жизнь, но и наделял их смысловой структурой, в рамках которой неприятности можно постигать и переживать» (р. 73). Она обсуждает идею автономии (autonomy) и подчеркивает, что единицей постсоциалистической автономии является «не индивид, а домохозяйство [household]» (р. 82). Это наблюдение обосновывается далее при рассмотрении практик заработка и потребления. Особое внимание Шевченко уделяет феномену «семейного котла» (family cauldron), под которым понимается тесная связка индивидуальных трудовых и потребительских стратегий с общим благосостоянием домохозяйства, подчас расширенного,

включающего более или менее дальних родственников и друзей. Особенности практик потребления и установления автономии домохозяйства ярко проявляются в процессе покупки товаров длительного пользования и сохранении отслуживших свой срок товаров (таких как холодильник) наряду с новыми предметами. Повседневная автономия, когда «в той мере, в какой люди могли этого достичь ... они отходили от общественной инфраструктуры в поиске параллельной системы институтов» (р. 127), рассматривается на материале таких примеров, как фортификация домашней собственности (путем установки железных дверей и гаражей-ракушек), самолечение и услуги нетрадиционной медицины. Эти примеры показывают, как москвичи находили альтернативные пути получения услуг, которые бы не зависели от государственных и общественных служб (так, железная дверь, в сущности, подменяет действие законов и работу милиции по охране собственности). Как симптом и символ автономной жизни Шевченко описывает расплытие досуга, в том числе приходящегося на развлечения и праздники; особое место в досуговых практиках приобретает решение кроссвордов. Обсуждая политическое значение и политические последствия действия кризисной интерпретативной схемы, автор уделяет особое внимание «обратной политической социализации», которая привела к восприятию всей политики, всех медийных сообщений и всего интеллектуального дискурса как принципиально коррумпированных, делающихся в интересах определенных групп и не заслуживающих доверия. «Слишком сложные, чтобы их можно было вывести из риторики и поведения, политические интересы и мотивы ... представлялись как всегда невысказанные – убеждение, которое автоматически превращало высказываемые намерения в обманчивые по определению» (р. 152). Установка принципиального недоверия, по мнению Шевченко, стояла, в частности, за популярностью альтернативной истории академика А.Т.Фоменко, на примере которой демонстрируется позиция «незаинтересованного наблюдателя».

В заключении автор рассматривает результаты исследования с точки зрения сегодняшнего дня и проблематизирует место выделенной кризисной интерпретативной схемы в процессах социального изменения. Она указывает, что адаптивный эффект и нормализационная функция схемы могли сами по себе привести к сохранению и воспроизведению кризисной ситуации. Книга снабжена подробным методологическим приложением, описывающим позицию исследователя и «теоретически информированную выборку методом снежного кома», которая использовалась при отборе респондентов для глубинных интервью, ее недостатки и выигрыш в установлении контакта и доверия в отношениях исследователя и респондентов.

Одним из достоинств книги является то, что Ольга Шевченко пишет из 2000-х, но основывается на полевой работе, проведенной в 1998-2000 годах, демонстрируя тем самым, как работала кризисная интерпретативная схема в обыденной обстановке во время и сразу после кризиса 1998 года. Сегодня к этому материалу уже можно обращаться с некоторой исторической дистанции. Данные, полученные в этнографических наблюдениях и глубинных интервью и дополненные экспертными интервью и анализом медийных сообщений, ярко и детально раскрывают городскую культуру Москвы конца 1990-х. Приятно отметить, что книгу отличает хорошо структурированные теоретические основания и методологическая строгость. В частности, хотя Шевченко и применяла для отбора панели «снежный ком», она, несомненно, осознавала ограничения и последствия такого решения. Вряд ли более «объективные» методы отбора позволили бы достичь аналогичного уровня легитимации и доверия, какой просматривается не только в авторском тексте, но и в многочисленных обширных цитатах из интервью. Высказывания людей, с которыми разговаривала Шевченко, приводятся в книге весьма часто, но при этом автору удалось избежать ситуации, когда они бы выглядели слишком длинными и неуместными.

Мне кажется, что главным достижением книги, помимо концептуализации и документирования зарождения кризисной интерпретативной схемы, является глубокое проникновение в истинное значение автономии (которую подчас ошибочно отождествляют с индивидуализмом) для постсоциалистических субъектов. Причитания об «упадке

коллективности», «растворении социальности», «разрушении общественных связей» занимают заметное место в современном дискурсе критики «искусственно насажденного в России западного индивидуализма». Характерной чертой такого дискурса является то, что он «промахивается мимо» укорененности автономных субъектов в семье, домохозяйстве, сетях родства и близкой дружбы, которые существуют параллельно как государству, так и тому, что обычно называют «обществом» (или, если угодно, «общественностью»). Шевченко тонко и убедительно показывает, что «ощущение благосостояния основывалось на достижении по возможности широкого и всеохватывающего отделения от “системы”» (р. 128). Понимание природы этой автономии и достижения ощущения благосостояния (и борьбы за это ощущение) является ключевым для фиксации того, как москвичи действительно жили обыденной жизнью в суматохе первого десятилетия после распада Советского Союза.

В порядке критических замечаний стоит отметить, что хотя Шевченко понимает специфику и уникальность Москвы как социальной среды в современной России, а этнография – это описание конкретных локальных ситуаций, а не конструирование широких обобщений, – в книге, как мне кажется, особое положение Москвы обсуждается недостаточно. Тем более, что книга написана по-английски и ориентирована на международную профессиональную аудиторию, а для этой аудитории специфика отношений и напряжения между Москвой и остальной Россией вовсе не является известной и очевидной. Хотя книга посвящена не столько городу, сколько повседневной жизни его обитателей, включение этой жизни в некоторый сравнительный контекст (пусть даже на основании вторичных материалов), несомненно, внесло бы нужное понимание ее специфики, в том числе именно как жизни даже не в большом городе, а в колоссальном метрополисе.

Важная концептуальная и теоретическая проблема (для исследования которой книга вполне может стать одной из стартовых точек) лежит в природе обсуждаемой автором автономии: хотя Шевченко описывает ее прежде всего как автономию по отношению к государству и предоставлению инфраструктуры и услуг (ранее они входили в сферу ответственности советского государства, а в 1990-е воспринимались как «пущенные на самотек» и потому теряющие качество и разрушающиеся), отношение индивидов и домохозяйств к «большому обществу» также требует рассмотрения в этом контексте. Аргументы Шевченко позволяют установить неадекватность для описания российской (в данном случае московской) действительности традиционно постулируемых в социологии связей между социальными сетями и политическим действием и понятия «публичной сферы» в хабермасовском понимании. Автор отмечает, что москвичи приобрели некоторую «скептическую постсоциалистическую восприимчивость» (*skeptical postsocialist sensibility*) (р. 168) и некоторую коллективную идентичность «народа» (р. 166), которая «имела своим условием *отсутствие* коллективного действия в традиционном понимании политической борьбы» (р. 168). Мне кажется, что эти наблюдения свидетельствуют в пользу важности различия между «разделяемой» идентичностью и «коллективностью» (или «группой»), которая действительно формируется на основе коллективной идентичности. Также необходимо понять, как эти автономные социальные единицы (в представлении Шевченко – домохозяйства и семейные сети) взаимодействуют с другими социальными единицами на том же уровне (в том числе между собой). Возможно, именно в этом ключе следует оценить применимость привычных для урбанистики понятий «сообщества», в особенности «локального сообщества» (*local community*), для описания современной городской среды в России.

Итак, перед нами очень качественно и аккуратно написанная работа. В ней нет ни высокопарной обобщающей риторики социетальных трансформаций, ни иронии и морализаторства, которыми так часто страдают исследования современной России. Хотя Шевченко и не проводит целенаправленного обсуждения свойств Москвы как города и как городской среды, сам текст ее книги передает ощущение города как живого мира, актуализированного в мыслях и действиях его жителей. А это тот эффект, без которого невозможна настоящая этнографическая работа.

СТАТЬИ И ЭССЕ

Дискуссия

23-24 января в Московской высшей школе социальных и экономических наук состоялся XVI международный симпозиум «Пути России. Современное интеллектуальное пространство: школы, направления, поколения», в рамках которого был организован круглый стол «Теория практик vs теория фреймов». Предлагаем вниманию читателей несколько материалов этого круглого стола.

*Вадим Волков**

Слова и поступки

В этом выступлении я собираюсь ответить на критику теории практик в целом и двух моих статей¹, в частности, со стороны представителей теории фреймов. Главной претензией Виктора Вахштайна к теории практик было отсутствие в ней трансцендентного измерения. Далее я постараюсь утолить тоску сторонников теории фреймов по трансцендентному.

У самых разнообразных и далеких друг от друга направлений социальных исследований есть одна важная общая черта. Она же – общая слабость. Их объединяет готовность работать с облегченной реальностью. Таковы концепции социальной реальности, основанные на понятии игры. Под игрой понимается и само взаимодействие, и некоторая достоверная модель или имитация этого взаимодействия, а под правилами игры – ее закономерности.

Игры, безусловно, имеют место в нашей жизни, но вот по поводу их действительного места стоит критически задуматься. Игра – это имитация, облегченный вариант реальности, особенно в части нежелательных последствий. У игр договорная природа, и люди так или иначе управляют игрой, определяя ее правила и участников. У игры есть место и время, она имеет начало и конец. Это отдельная реальность, конечная область значений, одна форма жизни из многих, особый фрейм. Игра ассоциируется со свободой и с развлечением.

Социальные науки некритически превратили эту форму жизни в некоторый всеобщий эквивалент, используя ее как базовую концептуальную метафору любого социального взаимодействия. Игра стала универсальным познавательным средством. Человек играющий был объявлен Йоханом Хейзингой [4] в качестве некой антропологической константы. (Игра старше, чем культура – посмотрите на животных.) Рационально-экономический подход к обществу нашел свое высшее выражение в теории игр. Сегодня теория игр претендует на то, чтобы моделировать и предсказывать любое взаимодействие – от легкого флирта до ядерной войны. Влиятельное направление, называемое «неоинституционализм», опирается на концепцию института, также построенного на игровой аналогии. Институт, как мы знаем, это совокупность правил игры и механизмов контроля за их соблюдением. Он рождается тогда, когда, по выражению Норта [2], игроки отделяются от правил, и правила анализируются самостоятельно, как если бы это и были институты.

* **Волков Вадим Викторович** – доктор философии (Кембриджский университет), доктор социологических наук, проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге, профессор Высшей школы экономики (Санкт-Петербург).

© Волков В., 2009.

© Центр фундаментальной социологии, 2009.

¹ *Волков В.В.* О концепции практик в социальных науках // Социологические исследования. 1997. №6. С. 9-23 <http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/111092>; *Волков В.В.* Следование правилу как социологическая проблема // Социологический журнал. 1998. № 3/4. С. 156-170. <http://www.nir.ru/sj/sj/34-volkov.htm>.

При переходе от игры как *game*, которая редуцируется к правилам или ограничениям, к игре как *play*, где добавляется элемент игровости, имитации, а также некоторый критерий достоверности, все становится еще более поверхностным. Возможно, распространению этой подмены, как и многозначительному к ней отношению, мы обязаны неудачному афоризму, приписанному Шекспиру, о том, что жизнь – это театр, а люди в нем актеры. Со времен «изобретения» ролевой теории социология уже почти 80 лет старательно разрабатывает этот образ. Ирвингу Гофману до сих пор и по праву принадлежит первенство в эксплуатации театральной метафоры и игрового фрейма.

У Гофмана реальность представляется как категориальный каркас, состоящий из розыгрышей, обманов, фабрикаций, постановок, фальши и фальшивок, фокусов и танцующих слонов. Читая его, трудно отделаться от подозрения, что фрейм у Гофмана только один – игровой и жизнь, соответственно, редуцирована к игре. Так называемое «трансцендентное измерение» (некие априори), которое есть у Гофмана, представлено независимо существующими фреймами, приводящими поведенческие сценарии в соответствие с контекстами. (Что или кого и как надо играть в данной ситуации.)

В этом ряду непомерно облегченных версий реальности есть еще и многочисленные формы социального конструктивизма. Непереносимая легкость социального конструктивизма происходит из того, что фреймы и представления можно вообще менять по ходу игры, и нет ни одного социального фрейма, который бы нельзя было поменять некоторым новым соглашением участников.

Привлекательность игровых и театральных метафор понятна. Игра представляет жизнь вполсилы, без последствий и риска, без высоких ставок и фатальных привязанностей. Это свобода от обязательств и возможность в любой момент сказать: чур не я. Игра притягательна даже не возможностью в нее играть, а возможностью из нее выйти в момент риска или усталости, а также тем, что есть шанс переиграть заново.

С сожалением должен констатировать, что и поздний Витгенштейн поддался соблазну игровой метафоры, посвятив часть «Философских исследований» рассмотрению языковых игр и проблеме следования правилу (в игре). Правда, результат его размышлений был прямо противоположный неокантианскому: если все открыто взору, то нечего и объяснять [1, с. 130]. То есть игра есть исключительно результат тренировки практических навыков под присмотром более опытных игроков (сообщества), и какие-либо трансцендентальные усмотрения были бы здесь лишними.

В связи с тем, что идеология игры стала ядром эпистемологии социальных наук, напрашивается несколько вопросов. Каковы границы игровых аналогий? Что остается по ту сторону игры и дает ей возможность быть?

Модели социального взаимодействия и социальных институтов строятся по образу игр по правилам (в смысле *game*) или игры по сценариям (в смысле *play*). Из игры можно выйти, можно открыто назвать это игрой, можно закончить игру в соответствии со сценарным финалом. Но игра, из которой нельзя выйти, это уже не игра. Это нечто посерьезней. Отсюда еще вопрос: где кончается игра (в онтологическом смысле)? Парадокс в том, что она кончается там и тогда, когда из нее невозможно выйти. То есть, когда она не кончается. Общество, социальные институты – это игра, из которой невозможно выйти. Даже смерть не прерывает ее, особенно если это правильная смерть. В нашей жизни «играют» множество мертвых, давно ушедших «игроков».

Моментального ответа нет, но есть путь рассуждений, по которому его можно искать. Еще раз зададим вопрос. Если есть игра, то что является не-игрой? Это, по-видимому, ситуация, в которой нельзя сказать ни «я играю», ни «я не играю». Что является серьезным? Если есть инсценировки, фабрикация, обманы, в том числе те, которые предполагают серьезное выражение лица, то можно ли отменить саму их возможность? Если есть роли, которые ситуативны, или которые можно одевать и снимать, как личины, то можно ли установить доролевую реальность? Это будет раздетый и беспомощный человек, как полагает Гофман, или наоборот?

Если «утяжелить» понятие действия, то получится поступок. Поступок – это действие, которое можно назвать этическим. Можно ввести следующее разделение. Нечто может быть высказано либо с помощью слов, либо с помощью поступка. Определим свойства поступка. Во-первых, поступки – это действия, не требующие слов. Здесь нет удвоения реальности, нет отнесения к смыслу-там. Они являют смысл-здесь. Наоборот, слова или комментарии, как говорится, излишни. В «Логико-философском трактате» Витгенштейн [1] вводит различие между тем, о чем можно говорить, и невысказываемым. Невысказываемое показывает себя. Поступки и этические действия попадают в категорию того, о чем следует молчать – но не потому, что это некая мистическая тайна, а потому, что слова не требуются.

Во-вторых, поступок обладает фундаментальным свойством необратимости. Поступок окончателен. Слова можно взять назад, можно перетолковать, исказить и т.п. Поступок не только ясен без отсылки к чему-либо еще, но и обладает конечной убедительностью, поскольку меняет реальность. Необратимость – это и есть изменение. Джон Остин [5] был не совсем прав, говоря, что перформативные высказывания меняют положение дел в мире. Обещание можно взять назад, а корабль «Королева Елизавета» можно переименовать в «Иосиф Сталин» и делать это каждый день. Но есть высказывания, которые действительно можно считать поступками – в той мере, в какой они создают необратимость. Например, объявление войны, отдача некоторой команды, вынесение окончательного приговора, в том числе себе, если есть полное понимание последствий.

В-третьих, поступок меняет статус слов, произнесенных до него; он как бы заменяет верификацию в тех ситуациях, когда она невозможна опытным путем. Почему? Потому, что поступок определяет статус и идентичность говорящего или говорившего. Поступок отвечает на вопрос «кто я?». В теории практик есть утверждение, что практика (а не высказывания типа «я есть такой-то и такой-то») создает и поддерживает идентичности и субъектов, и объектов. Смысл задается употреблением. Быть кем-то – это устойчиво делать как кто-то (командир, женщина, ученый). Поступок сильнее, поскольку добавляет предикат «настоящий» – в отличие от «изображал кого-либо», и т.п., то есть в отличие от временного фреймирования.

Но идентичности и привязанное к ним этическое должествование не существуют сами по себе, отдельно, в некотором особом измерении, будь то книги, кодексы или коллективные представления. Они существуют в поступках, которые невозможно отделить от тех, кто их совершает, и которые придают значение словам-до и словам-после, а сами слов не требуют, поскольку показывают все с конечной убедительностью.

Вот недавнее короткое сообщение с новостной ленты Korrespondent.net.

«В Баренцевом море в районе острова Медвежий потерпел бедствие российский траулер «Топаз». 18 членов экипажа спаслись на оказавшемся рядом судне. Однако капитан, который до последнего момента оставался на борту, погиб». Под ним более 40 отзывов. Они примерно такие: «Я уже думала и нет таких людей больше... настоящих, преданных долгу..., а оказывается...»

«Настоящий Капитан». «Это капитан с большой буквы». «Вот каким должен быть капитан». И тому подобное. Ситуация траулера «Топаз» была технической, у него были повреждены кингстоны. В ней не было слов и не было фреймов. Но вдруг все техническое стало другим – и не из-за того, что кто-то дал знак «переключить фрейм». Был совершен поступок, и все поняли его без слов. Можно сказать, что этика морской профессии, а также ее так называемая «ролевая структура» – это инерция отдельных поступков конкретных людей.

Новый Завет прекрасно иллюстрирует природу поступка. Пророков и проповедников новых учений было в то время много. Иисус Христос – один из них. В тексте есть кульминационный момент Моления о Чаше, где он знает, что должно с ним произойти и как страшны будут последствия, и выбирает то, что должно, потому что если бы не было мучительной смерти за все сказанное, то слова остались бы словами, и никакого христианства бы не было. Все проповеди остались бы инсценировками. Вот красивая

Нагорная проповедь, как на картинах, вот Иисус въезжает в Иерусалим, и т.п. – красивые постановки и слова, вдохновившие не одно поколение художников. В любой момент их можно было таковыми и оставить. Вот Пилат говорит – «тебе это надо? Зачем это все? Ты понимаешь, что сейчас будет?». Если в этот момент Иисус говорит: «да ладно, мы с друзьями немного перебрали в своих речах» – и все предыдущее осталось бы инсценировкой, игрой, фреймом, дискурсом. Когда начинается поступок, Иисус замолкает, он принципиально ничего не говорит – все скажет поступок. А дальше – кусок кровавого мяса и мучительная смерть. От поступка происходят многочисленные имитации, которые мы потом называем ролями.

Когда мы остаемся в границах игровых аналогий, мы вынуждены объяснять поведение людей их мотивацией и внешним контролем. Мы говорим про функцию полезности или про цели, про общие нормы, которые контролирует сообщество. Границы игровых аналогий – это сегодня и есть границы социологии. За границей игры и социологии находится этика, этическое действие. Ранний Витгенштейн писал: «Ясно, что этика не имеет ничего общего с наказанием или вознаграждением в обычном смысле. Следовательно, вопрос о последствиях поступка не должен иметь значение. Должно быть этическое вознаграждение и этическое наказание, но они должны заключаться в самом поступке». Гарантией следования правилу игры является идентичность, вопрос «кто ты на самом деле?», а не вознаграждение или наказание. Играть в футбол – это одно, а быть футболистом – совсем другое. Играть в войну – это одно, а быть солдатом – совсем другое. Решиться быть – это здесь и есть поступок. Это тихая решимость. Это не технический вопрос. Практика, которая формирует идентичность, захватывает человека целиком, переводя техническую самоотдачу в экзистенциальную в момент, когда возникает вопрос: кто я? Или: кто я после этого? Есть технический контракт, а есть этический контракт. Первый – это временное техническое обязательство соблюдать нормы. Второе – обязательство быть кем-либо. Есть брачный договор, а есть любовь. Этические контракты часто становятся пожизненными и необратимыми.

У Мартина Хайдеггера сфера повседневности, обыденной социальной жизни, практики, в которой присутствие (Dasein) отдано «людям» (Das Man) и технической структуре материального мира, выступает как неаутентичное бытие. «Люди существуют способом несамостояния и несобственности» [3, с. 128]. Они отданы техническим и социальным нормам, ролям, понимают себя отнесением к фреймам, практикуя усредненные практики. Социология разворачивается в сфере неаутентичного бытия и делает ее своим объектом.

Вторая часть «Бытия и времени» набрасывает феноменологическую структуру аутентичного присутствия, оно описывает появление способности быть целым. Она про то, как открывается собственная истина присутствия и преодолевается потерянная и «заброшенность себя в людях». Это размыкание, «разомкнутость повседневности», как говорит Хайдеггер. Можно сказать – остановка практики, разрыв фреймов. Эта структура размыкания или приведения к целому состоит из открытия бытия-к-смерти, зова совести и решимости. «Решительное присутствие может стать совестью других», пишет Хайдеггер [3, с. 298]. Это можно назвать социальной инерцией поступка. И возникает другое сообщество, объединенное этическим пониманием практики. «Из собственного бытия-самости в решимости только и возникает собственная взаимность, но не из двусмысленных и ревнивых договоренностей и болтливых братаний на людях» [3, с. 298]. Решения – это когда «присутствие «живет» как человеко-самость понятливой двусмысленностью публичности, где никто не решился, но все всегда уже решено» [3, с. 299]. Молчаливая решимость, не нуждающаяся во внешних основаниях или социально индуцированной мотивации, противопоставляется принятию решений исходя из ситуации, наличных возможностей и общепринятых способов поведения.

Когда заходит речь про аутентичное бытие, поступок, экзистенциальную самоотдачу и подобные имманентные явления, лежащие за пределами социальных фреймов, безличных поведенческих образцов или какой-либо другой реальности, с которой привычно имеет дело социология, возникает трудность описания: язык «буксует». Витгенштейн утверждал, что

этика не имеет отношения к событиям или фактам мира, то есть к тому, что выражают предложения языка, поэтому предложения этики невозможны. Ему оставалось только постулировать границу, за которой позитивистский язык, построенный на соответствии логической структуры высказывания и положения дел в мире, теряет свой смысл. Трансцендентное нам не нужно, если в качестве этического мы понимаем не предложения этики, а поступок. По ту сторону языка находится не трансцендентальная структура, а этическое, показывающее себя в целостности поступка, у которого всегда есть автор.

Пока социология не может обойтись без трансцендентного измерения, которое представлено безличными коллективными – фреймами, образцами, типами, смыслами, далее по списку. Поступок и авторство, все аутентичное и имманентное не попадают в матрицу социологии. С трудом в нее втискивается и теория практик. Видимо, следующей задачей теории практик будет попытка ввести в нее аутентичное измерение через категорию поступка. Может быть, аналогичная задача станет актуальной и для социологии.

Литература

1. *Витгенштейн Л.* Философские исследования // *Витгенштейн Л.* Философские работы. М.: Наука, 1994.
2. *Норт Д.* Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997.
3. *Хайдеггер М.* Бытие и время. М.: Ад Маргинем, 1997.
4. *Хейзинга Й.* Homo Ludens. Статьи по истории культуры / Пер., сост. и вступ. ст. Д. В. Сильвестрова; коммент. Д. Э. Харитоновича. М.: Прогресс-Традиция, 1997.
5. *Austin J.* How To Do Things with Words. Oxford: Oxford University Press, 1962.

*Виктор Вахштайн**

Между «практикой» и «поступком»:
невыносимая легкость теорий повседневности

Аннотация. Текст представляет собой ответ на статью Вадима Волкова «Слова и поступки». Это очередной виток в дискуссии, развернувшейся между теорией практик и теорией фреймов. Автор делает попытку заново поставить фундаментальных проблем социологии повседневности и ответить на ключевой вопрос: «Как при помощи фрейм-анализа вернуть в исследования повседневного мира “трансцендентное измерение” действия и не превратить при этом саму социологию повседневности в очередную разновидность моральной философии или этической доктрины?».

Ключевые слова. Повседневный мир, фрейм, поступок, практика, трансцендентное измерение, трансценденция, экзистенциализм, игра, верховная реальность, «Южный парк», онтологический статус, *in situ*, *sub specie aeternitatis*.

«...Geen woorden, maar daden!»

«...Не слова, но поступки!»

Девиз роттердамского
футбольного клуба «Feenoord»

*...Ибо вот уже его рука, словно ястреб,
взмывает над полем, берет ферзя и переносит его...
нет! – не назад, боязливо, как сделали бы мы, а
опускает его только на одну-единственную клетку
правее! Невероятно! Все так и застывают от
восторга. Никто на самом деле не понимает, для чего
нужен этот ход, ибо ферзь стоит сейчас на краю
доски, ничему не угрожает и ничего не прикрывает,
стоит там абсолютно бессмысленно, но стоит
красиво, до абсурдного красиво, так красиво ферзь
еще никогда не стоял – одиноко и гордо посреди
вражеских рядов...*

П. Зюскинд «Поединок»

Теоретическая дискуссия во многом подобна шахматной партии. «Ходы» в ней могут быть наступательными и оборонительными, нагнетающими напряжение и сулящими скорую разрядку. Собственно, самому ходу или их комбинации – т.е., высказываемому аргументу

* **Вахштайн Виктор Семенович** – кандидат социологических наук, декан факультета социологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, старший научный сотрудник Центра фундаментальной социологии ИГИТИ ГУ-ВШЭ.

© Вахштайн В., 2009.

© Центр фундаментальной социологии, 2009.

или серии аргументов – предшествует позиционная борьба (привлечение и «расстановка» теоретических ресурсов). Обмениваясь аргументами, игроки зачастую вынуждены жертвовать некоторыми ранее обороняемыми положениями или ретироваться, обнаружив недостаточную «защищенность» своей позиции. Сиюминутный выигрыш (например, успешная атака на менее укрепленном «фланге» оппонента) легко может обернуться стратегическим проигрышем – и тогда нападающий сталкивается с дефицитом теоретических ресурсов, теряет инициативу, возвращаясь на заранее подготовленные (если подготовленные) позиции¹.

Отсюда особый талант аргументации – способность при помощи простой комбинации (или одного хода) отразить критический выпад, направив его против самого источника критики. Иногда для этого приходится жертвовать «фигурой» – ценной теоретической метафорой, различием или тезисом. Но эта жертва с лихвой окупается через несколько ходов – когда нападающий неожиданно сталкивается с необходимостью спасти свои собственные положения от своих же собственных критических аргументов.

Благодаря короткому, но глубокому тексту Вадима Волкова «Слова и поступки» дискуссия между теорией практик и теорией фреймов приобрела именно такой захватывающий оборот. Начав с «ответа на критику теории практик... со стороны представителей теории фреймов», автор:

а) пожертвовал одной из основных метафор своей концепции – метафорой игры и одним из центральных своих теоретических ресурсов – философией позднего Л. Витгенштейна (а попутно и лингвистической философией Дж. Остина);

б) произвел радикальную смену повестки дня теории практик, выведя на передний план анализа понятие «поступок»;

в) «вернул» теоретикам фреймов их же собственный критический аргумент: ...предложенной вами модели социального действия сильно не хватает «трансцендентного измерения» и чувства «подлинной реальности»; фрейм-анализ, равно как и практико-ориентированная социология, строится на метафоре игры, т.е. «непомерно облегченной версии реальности». И вывод: «Да, в теории практик нет трансцендентного измерения. Но нет его и в теории фреймов...». Однако теория практик, по крайней мере, может вернуть в социологическое исследование некое «аутентичное измерение [действия] через категорию поступка». Теории фреймов же нечего противопоставить своей собственной критике.

Это сильный теоретический ход! Увлечшись критикой «имманентизма» в теории практик, мы сосредоточили всю свою аргументацию на одном фланге, начисто забыв об угрозе контрнаступления через апелляцию к принципиально не-рутинным, не-повседневным и этически нагруженным формам действия – формам, «выламывающимся из всех контекстов», а потому превосходящим любые системы фреймов. Теперь нам придется перегруппировать имеющиеся теоретические ресурсы, чтобы:

а) заново поставить проблему трансцендентного измерения повседневного действия;

б) решить ее так, чтобы вслед за автором «Слов и поступков» не выплеснуть вместе с водой ребенка – не отказаться от исследований мира повседневности в попытке добраться до скального онтологического грунта, до «конечной реальности», до подлинного неигрового бытия.

в) отразить критический аргумент – упрек в невыносимой легкости описываемого теорией фреймов бытия («...трудно отделаться от подозрения, что фрейм у Гофмана только один – игровой и жизнь, соответственно, редуцирована к игре»);

¹ В этом ключевое отличие собственно теоретической дискуссии от всевозможных околонучных «риторических игр». Там противостояния поддерживаются не интеллектуальными, а исключительно языковыми ресурсами, стороны предпочитают «высказывание личностных позиций» обоснованному рассуждению, и всякая попытка логической аргументации гибнет под тяжестью навешиваемых ярлыков. Подобные дискуссии правильнее описывать не в метафорике шахматной игры, а по аналогии с «dancing contests» – импровизированными танцевальными состязаниями между подростковыми уличными группировками.

Отсюда ключевой вопрос этой работы: *как при помощи фрейм-анализа вернуть в исследования повседневного мира «трансцендентное измерение» действия и не превратить при этом саму социологию повседневности в очередную разновидность моральной философии или этической доктрины?*

Впрочем, это потребует от нас возвращения к исходному критическому аргументу.

Дебют: еще раз о «трансцендентном измерении» социального

Теория практик, теория фреймов и теория поступка (одинаково далекая и от теории практик, и от теории фреймов) по-разному отвечают на один и тот же фундаментальный вопрос социологии: *каков статус социального мира как реальности особого рода?* Иными словами, насколько изучаемый нами мир социальных взаимодействий, конфликтов, солидарности, принуждения, рациональности, языковых игр и неязыковых жестов является «настоящим»? Страшный сон социолога – обнаружить на каком-то этапе своего исследования, что его предмет просто не существует или, хуже того, является лишь вымыслом, плодом больного воображения и, видимо, первым признаком безумия.

Со времен Платона «гарантом реальности» и «инстанцией подлинности» выступал мир идей – трансцендентный, расположенный всегда-по-ту-сторону мира наблюдаемых и осязаемых феноменов. Начало ниспровержению такой интуиции трансцендентности положила аристотелевская контрреволюция. Лучше многих теоретиков смысл этой контрреволюции передал Виктор Пелевин в повести «Чапаев и Пустота», герои которой – пациенты психиатрической клиники – ведут философские беседы во время лечебно-эстетического практикума:

«...– Господа, – заговорил я, чувствуя, что назревает ссора, и пытаюсь увести разговор куда-нибудь на нейтральную территорию, – а вы не знаете, почему это мы рисуем именно Аристотеля?

– Так это Аристотель? – сказал Мария. – То-то вид такой серьезный. А черт знает почему. Наверно, первый, кто им на складе попался.

– Не дури, Мария, – сказал Володин. – Тут никаких случайностей не бывает. Ты ведь только что сам все вещи своими именами назвал. Мы почему все в дурке сидим? Нас здесь к реальности вернуть хотят. И Аристотеля этого мы потому именно и рисуем, что это он – реальность с шестисотыми «мерседесами», куда ты, Мария, выписаться хочешь, придумал.

– А что, до него ее не было? – спросил Мария.

– До него не было, – отрезал Володин.

– Это как?

– Не поймешь, – сказал Володин.

– А ты попробуй объясни, – сказал Мария. – Может, и пойму.

– Ну скажи, почему этот «мерседес» реальный? – спросил Володин.

Несколько секунд Мария мучительно думал.

– Потому что он из железа сделан, – сказал он, – вот почему. А это железо можно подойти и потрогать.

– То есть ты хочешь сказать, что реальным его делает некая субстанция, из которой он состоит?

Мария задумался.

– В общем, да, – сказал он.

– Вот поэтому мы Аристотеля и рисуем. Потому что до него никакой субстанции не было, – сказал Володин.

– А что же было?

– Был главный небесный автомобиль, – сказал Володин, – по сравнению с которым твой шестисотый «мерседес» – говно полное. Этот небесный автомобиль был абсолютно совершенным. И все понятия и образы, относящиеся к автомобильности, содержались в нем одном. А так называемые реальные автомобили, которые ездили по дорогам Древней Греции, считались просто его несовершенными теньями. Как бы проекциями. Понял?

– Понял. Ну и что дальше?

– А дальше Аристотель взял и сказал, что главный небесный автомобиль, конечно, есть. И все земные машины, разумеется, являются просто его искаженными отражениями в тусклом и кривом зеркале бытия. В то время спорить с этим было нельзя. Но кроме первообраза и отражения, сказал Аристотель, есть еще одна вещь. Тот материал, который принимает форму этого автомобиля. Субстанция, обладающая самосуществованием. Железо, как ты выразился. И вот эта субстанция и сделала мир реальным... Потому что до этого все вещи на земле были просто отражениями, а какая реальность, скажи мне, может быть у отражения? Реально только то, что эти отражения создает» [3]

Классики социологии повседневности (У. Джемс, А. Шюц) с их тезисом о «верховой реальности» повседневного мира по-аристотелевски опрокидывают платоновскую иерархию миров: подлинное бытие – это как раз то, что Платон считал неверным отражением идей, тогда как сами идеи (например, «мир научной теории» по Шюцу) – суть нечто среднее между сном и безумием. Напротив, классическая социальная теория опирается на «платоновский» способ мышления, где социальная реальность *sui generis* – это реальность трансцендентного.

В социологической классике интуиция трансцендентного исключительно сильна. При желании можно объяснить это историческими причинами: якобы социология, отпочковавшись от философии, сохранила основные интенции религиозной метафизики и лишь заместила трансцендентность Б-га трансцендентностью Общества (неслучайно у Дюркгейма оно наделено статусом «Верховного существа»). Действительно, социальные факты не даны наблюдателю, они проявляются в конкретных наблюдаемых событиях, но существуют всегда-по-ту-сторону мира имманентных человеческих действий.

Более тонкий аргумент связан не с историческими, а с логическими основаниями социальной теории². Социологи-неокантианцы, стоявшие у истоков дисциплины (М. Вебер, Г. Зиммель), произвели решительную де-онтологизацию социального мира. Если согласно Декарту все вещи делятся на протяженные (*res extensa*) и мыслимые (*res cogitans*), то и изучение их возможно либо в модусе физики, либо в модусе психологии. Социологии просто не остается места. Неокантианцы баденской школы расчищают пространство для социологии, «снимая» картезианский дуализм нетривиальным стратегическим ходом: да, есть вещи в пространстве и вещи в психике – но и те, и другие суть *вещи*, они *существуют*, т.е. принадлежат миру бытия. Про них всегда можно сказать «есть / нет». За гранью же мира бытия находится мир ценностей и связывающее два мира пограничное «царство смыслов». Это и есть подлинная реальность предмета социологического познания. Социология намеренно отказывается от изучения «вещей *per se*», ограничив предмет своего исследования их социальными смыслами. Про смысл (как и про ценность) нельзя сказать, что он «есть или нет». Смысл – не существует, он *значит*. Поэтому социолог должен решительно отвернуться от мира бытия, мира мыслимых и осязаемых вещей; его дело понять, что эти вещи значат. (Данное различие лежит в основании Великого Раскола между «науками о бытии» и «науками о значении».)

Здесь, собственно, и возникает веберовская модель социального действия. Действующий выходит за пределы своего наличного бытия, обращается к миру ценностей, находит смысл и воплощает его в конкретном действии. Т.е., само практическое действие – это отражение некоторой ценности «в тусклом и кривом зеркале бытия». Поэтому крестьянин не совершает поступательных движений тяткой (практический модус), а спасает свою душу в богоугодном труде (ценностный модус), равно как и ученый, предположительно, не максимизирует свой капитал, а ищет истину [1]. Впрочем, тут мы уже имеем дело не просто с трансцендентным (противоположным имманентности наличного бытия), а с *трансценденцией* – специфической операцией выхода за границы непосредственной ситуации, преодоления практического

² Этим аргументом мы обязаны А.Ф. Филиппову.

контекста здесь-и-сейчас. Трансценденция легче всего распознается в ценностно-рациональных действиях, а предельный ее случай выражен в пограничных переживаниях. Таких, как переживание князя Андрея Болконского на поле под Аустерлицем³. (Это сравнение не будет выглядеть притянутым за уши, если вспомнить, что М. Вебер был почитателем таланта Л. Толстого.)

Приведенный В. Волковым пример с капитаном корабля, отказавшимся покинуть судно и утонувшим в Баренцевом море, действительно можно понять как Поступок – «без слов». Но его совершенно невозможно понять без интуиции трансцендентного.

Итак, социологическая классика выстроена на «платоновской» модели описаний, в которой приоритет принадлежит трансцендентному миру. Этот мир по-прежнему является «верховным гарантом» реальности – в данном случае реальности предмета социологического исследования. В апелляции к трансцендентному едины такие несхожие авторы, как Э. Дюркгейм (для которого трансцендентно общество и мир социальных фактов), М. Вебер (трансцендентно царство ценностей) и даже релятивист Г. Зиммель, расписавшийся под требованием изучения социальной реальности *sub specie aeternitatis*, т.е. с точки зрения вечности.

Заметим также, у классиков метафора игры – столь критикуемая В.В. Волковым за «облегчение реальности» – встречается лишь изредка и практически никогда не является несущей конструкцией исследования. Там, где правит бал предвечное трансцендентное, не место играм.

Миттельшпиль: архитектура повседневности

С точки зрения интересующей нас области знания – социологии повседневности – у классических «платоновских» моделей описания есть только один недостаток. На них невозможно опереться при изучении мира повседневности, потому что повседневный мир наделяется в них статусом всецело имманентного, посюстороннего, а, следовательно, незначимого. Говоря словами Вебера, повседневность – это «выхолощенная» действительность. Почему выхолощенная? Потому что ей не хватает самого главного – трансцендентного измерения. Операция трансценденции представляет собой выход из повседневности, ее преодоление.

Классический пример нивелирования повседневного контекста операцией трансценденции мы находим в воспоминаниях психотерапевта-экзистенциалиста Виктора Франкла: «Незадолго до того, как Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну, я получил приглашение из Американского посольства в Вене прийти и получить визу для въезда в Штаты. В то время я жил в Вене с моими родителями. Они, разумеется, не ждали от меня ничего иного, нежели, что я получу визу и поспешу уехать. Но в следующий момент я начал сомневаться, спрашивая у себя: “Следует ли мне делать это? Могу ли я так поступить?”. Потому что мне внезапно пришло в голову, чем это будет для моих родителей, а именно: через пару недель – такова была ситуация в то время – они будут брошены в концентрационный лагерь. И должен ли я оставлять их на произвол судьбы в Вене? До сих пор я мог избавить их от этой участи, поскольку возглавлял отдел неврологии в Еврейском госпитале. Но если бы я уехал, ситуация тут же изменилась бы. Размышляя о своей

³ «...“Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются”, подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба – высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нему серыми облаками. “Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, – подумал князь Андрей, – не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, – совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, я, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!...”». Толстой Л. Война и мир. Том 1. [4].

ответственности, я почувствовал, что в такой ситуации естественно просить совета у неба. Я отправился домой, и когда пришел, заметил кусок мрамора на столе. Я спросил отца, откуда он взялся, и отец сказал: “О, Виктор, я подобрал его на месте, где стояла синагога” (она была сожжена нацистами). “А почему ты взял его с собой?” – спросил я. “Потому что это часть двух плит, на которых написаны десять заповедей”, и он показал мне сохранившуюся позолоченную еврейскую букву на мраморе. “Я могу сказать тебе больше, если хочешь, – продолжал он, – эта буква является сокращением одной из десяти заповедей: Почитай отца своего и мать свою, и пребудешь на земле”. Тут же я решил остаться в стране вместе с родителями, отказавшись от визы» [5, с.291].

Принятое автором решение (за которым последовали арест и депортация в концлагерь) – это результат проекции трансцендентного в имманентное, повседневное, обыденное: «Вы будете правы, утверждая, что это проективный тест, что я, по-видимому, принял решение в глубине души еще до этого и лишь проецировал его на кусок мрамора... Таким образом, смысл – это, по всей видимости, нечто, что мы проецируем в окружающие нас вещи, которые сами по себе нейтральны». Признание нейтральности окружающих нас вещей (Umwelt) непосредственно связано с признанием абсолютного приоритета трансцендентного («Потому что характерная составляющая человеческого существования – трансцендирование, превосхождение себя, выход к чему-то иному» [5, с.288]). Но если окружающие нас вещи, обыденные рутинные действия, нерелективные поступки и многократно повторяющиеся события действительно нейтральны и призваны служить лишь проекционным экраном потусторонних смыслов, то о каких исследованиях повседневного мира может идти речь? Тогда повседневность – это неподлинное бытие (Das Man), которое необходимо преодолеть. Неслучайно в «Словах и поступках» экзистенциальная философия по ходу изложения плавно вытесняет социологию повседневности.

Кажется, это тупик. Цугцванг. Либо выбор в пользу классических «платоновских» моделей социологического мышления (с их акцентом на трансцендентном и трансценденции, трагизмом, вечными темами, полным отсутствием иронии и игры), либо реабилитация имманентного, рутинного, обыденного и повседневного – пусть и с потерей трансцендентного измерения. Действительно, теория повседневных практик начисто лишена трагизма. И наоборот – трансцендентное не терпит обыденности. Ни Болконский, ни Франкл, ни капитан траулера «Топаз» не действовали рутинным повседневным образом, совершая свои поступки. Чего не скажешь о персонажах Витгенштейна, Бурдые, де Серто и Гарфинкеля, практикующих социальную жизнь, как практикуют занятия спортом или фитнесом.

Первый ход – назад, к приоритету трансценденции – заставит нас пожертвовать повседневностью, что равносильно утрате предмета исследования. Второй ход – к пониманию повседневного мира как мира практик, всецело имманентного и посюстороннего – навяжет упрощенный и поверхностный образ социального мира⁴.

Впрочем, у этого поверхностного образа есть свои основания, причем основания в философии, предшествующей платоновскому разграничению мира идей и мира вещей. Ж. Делез полагает их творением стоиков. О. Хархордин использует этот тезис для усиления позиций теории практик: «...стоики живут в мире поверхностей – им дан не платоновский мир материального и мир идеального, не картезианское сознание, сидящее где-то внутри и заявляющее о себе своими внешними проявлениями, а мир смыслов и мир тел, рассматриваемых как две стороны одной медали» [2, с.274]. У стоиков и теоретиков практик «смыслы режутся на поверхности тел» не от хорошей жизни – в силу того, что у них больше нет никакого трансцендентного измерения и собственного суверенного царства, они вынуждены ютиться на самих материальных телах. При снятии дихотомии потустороннего и

⁴ Я не буду повторять здесь критику «имманентизма» практических теорий, приведенную в предыдущей статье Вахитайн В.С. «Практика» vs. «фрейм»: альтернативные проекты исследования повседневного мира // Социологическое обозрение. 2008. Т.7. №1. С.65-95.

посюстороннего, как ни парадоксально, посюсторонним оказывается абсолютно все – социальная жизнь предстает не просто поверхностью, но чем-то вроде «ленты Мебиуса» перетекающих друг в друга событий и эффектов. А потому нет ни субъектов, ни объектов действий, есть лишь «то, что деется».

Собственно, из этого напряжения и рождается задача, поставленная нами в начале статьи – *вернуть в исследования повседневного мира трансцендентное измерение действия и не превратить при этом саму социологию повседневности в очередную разновидность моральной философии или этической доктрины*. Но для того чтобы такую задачу решить, надо понять, где была допущена ошибка, какой неосторожный ход привел к необходимости выбирать из двух зол: между выхолащиванием повседневного мира и утратой самой повседневности, между практикой и поступком.

Заметим, ни для теории практик, ни для теории поступка заявленная нами проблема не актуальна. Теория практик просто нечувствительна к разным формам трансценденции. (В лучшем случае трансцендентное здесь может быть концептуализировано не как «выход» из плоскости рутинного существования, а как волна, завихрение, «обращение на себя» самой этой плоскости.) Теория поступка безразлична к повседневности, ибо повседневные рутинные действия повторяемы и обратимы, а потому нет в них подлинной реальности. Как точно замечает В.В. Волков, «Джон Остин был не совсем прав, говоря, что перформативные высказывания меняют положение дел в мире. Обещание можно взять назад, а корабль “Королева Елизавета” переименовать в “Иосиф Сталин” и делать это каждый день. Но есть высказывания, которые действительно можно считать поступками – в той мере, в какой они создают необратимость». Трудно представить себе самопожертвование или самоубийство в качестве повседневных феноменов (если, конечно, речь идет не о трагической гибели героя «Южного парка», с завидной регулярностью умирающего в каждой серии мультсериала.)

Проблема появляется в тот момент, когда мы одновременно признаем ценность повседневности в качестве предмета исследования и отказываемся определить этот предмет в категориях имманентных посюсторонних локальных практик *in situ*, существующих лишь здесь-и-сейчас. Лучше всего этот вопрос сформулировал А. Шюц: «Как чувственный воспринимаемый мир, действительно данный индивиду в каждый момент его биографического существования, несет с собой свои открытые горизонты пространства и времени, выходящие за границы актуального Здесь и Сейчас?» [7, с. 462]. Самый простой ответ – при помощи знаков. «Знаки могут символизировать (обозначать или выражать) какой-то другой пространственно-временной контекст – либо далеко удаленный, либо давно минувший, либо близкий и недавний, – замечает по этому поводу У. Уорнер. – Взрослый человек находит письмо, написанное на чужом языке, датированное уже давно минувшим годом и подписанное его матерью. Он читает его и плачет. Контекст действия – здесь и сейчас, но значения пробуждают в памяти давно прошедшее время и далеко удаленное место» [6, с.521].

Собственно этот приведенный Уорнером сюжет – простейший пример трансценденции, выхода из здесь-и-сейчас. Теперь становится понятно, на каком ходу нами была сделана ошибка. Слишком поспешный переход от «трансцендентного» к «трансценденции». Ведь трансценденция отнюдь не всегда проявляется в своем экзистенциальном модусе – как «скачок» в религиозное переживание (Кьеркегор), обретение опоры в Абсолютном (Ясперс), озарение (Франкл) или необратимость подлинного поступка (Волков). Трансценденция – это любой «выход» из наличного бытия, любое отстранение от повседневности. Например, в переходе метро вы слышите музыку, которая на какой-то момент изменяет ваше отношение к реальности. Вы как бы приподнимаетесь над ситуацией, то, что до этой секунды казалось навязчиво присутствующим (шум поездов, сутолока, гомон разговоров идущих рядом людей), отступает на второй план, становится менее заметным. Сам ход времени изменяется и подчиняется теперь течению мелодии – вы убыстряете или замедляете шаг. Все, что волновало вас до этой секунды, кажется малозначимым, теперь совсем другие предметы обращают на себя ваше внимание. Когда мелодия заканчивается или вы удаляетесь от нее

настолько, что больше не можете распознать, повседневность «возвращается», обрушиваясь звуками, прикосновениями, запахами, которые до того были вытесненными *переживанием Иного*. (В кинематографе такое возвращение реальности обычно иллюстрируется резким повышением уровня шумов и ускорением движения в кадре.)

Другой пример – погружение в мир театрального представления, созерцаемой картины или книги. Невозможно одновременно находиться «внутри» изображенной действительности и «снаружи», в реальности повседневного. Нетрудно проехать свою остановку, зачитавшись в метро. Рама картины, кромка сцены, поля текста очерчивают зону восприятия. Движение «внутри / наружу» – это всегда осцилляция, колебание, но никогда – одновременное присутствие; поскольку такое одновременное присутствие внутри и снаружи изображенной действительности уничтожило бы саму границу между ней и повседневной реальностью.

Наконец, самый яркий пример подобного рода отстранения от повседневности – сон. Однако собственно социальная теория сновидений, которая смогла бы изменить взгляд на содержание сна как «чисто психический феномен» и предложить новый категориальный аппарат анализа сновидений, еще ждет своего часа.

В каждом из описанных случаев «отстранение» означает выход в некую неповседневную область, которая – при определенном отношении – не менее реальна, чем рутина обыденных действий.

Отсюда вывод: трансценденция (понимаемая не как «гром среди ясного неба», «пробой диэлектрика» или «прореха бытия», а как постоянные переходы между областями реальности) не противостоит миру повседневности; она является неотъемлемой частью его архитектуры.

Эндшпиль: реабилитация игры

Как тогда быть с игрой? Действительно ли тотальная «играизация» угрожает конечной реальности поступка? В эпиграфе приведен фрагмент рассказа Патрика Зюскинда «Поединок». Мир шахматистов, увлеченных партией (как и мир теоретиков, увлеченных дискуссией), ничем не напоминает невыносимую легкость бытия. Более того, он точно так же не требует слов (это, конечно, относится к шахматистам, а не теоретикам) – ходы говорят за себя⁵. Игра может быть не облегченной, а утяжеленной версией реальности, если в понятия игры включить, например, религиозный ритуал или военные действия. Приняв переопределение «трансценденции», мы вынуждены будем признать, что уход в игру – одна из ее разновидностей.

Именно здесь и локализована основная проблематика теории фреймов. Переключения и рефрейминги – суть механизмы трансценденции, перехода от одной формы (формата, фрейма) бытия к другой. Какая из этих форм обладает «конечной реальностью»? Для Джемса и Шюца – та, которая осязаема, ощущаема, принята на веру как не требующая доказательств и потенциально может «дать сдачи» (мир повседневных взаимодействий и рабочих операций). Для теории практик она является не только конечной, но и единственной. Для теории поступка такая форма бытия лишена аутентичности, а конечная реальность закреплена за этическими, необратимыми экзистенциальными действиями, и потому реально в конечном итоге лишь невысказываемое, показывающее себя без помощи слов.

Что же для теории фреймов? Начав с уютного джемсовского тезиса о «верховой реальности» (ей в фрейм-анализе соответствует понятие «первичной системы фреймов»), Гофман приходит в конечном итоге к радикальному выводу: мы не знаем, какая из форм обладает приоритетом; скорее всего никакая – поскольку реальны не сами формы, а лишь отношения между ними. Отношения перехода и трансформации, «скачка» и

⁵ Кстати, один эпизод из истории шахмат свидетельствует в пользу тезиса Вадима Волкова об «ортогональности» слов и поступков – в первых чемпионатах, объявляя шах, игрок должен был произносить слово «шах» (более того, угрожая ферзю, он должен был произносить слово «гардэ»), но по мере развития шахматной игры, слова отпали сами собой, поскольку ходы самодостаточны и самозаконны.

«транспонирования». Именно операция выхода за границы форматов взаимодействия и способность связывать их (например, отношениями означания) обладает приоритетом перед самими форматами.

Эти связи и являются предметом изучения фрейм-аналитика. Они же – предмет постоянного осмысления для тех, кто по характеру своей деятельности должен выносить суждения о «конечном статусе» действия.

В мае 2009 г., после нескольких случаев стрельбы в немецких школах, устроенной учащимся, немецкий парламент начинает обсуждать возможность запрещения пейнтбола. Почему именно пейнтбол, а не компьютерные игры, в которых эпизоды насилия выражены гораздо более ярко? Потому что фрейм «пейнтбол» – это транспонирование фрейма «перестрелка», причем транспонирование первого порядка. Здесь замещению подлежит лишь оружие стрельбы, сама же стрельба ведется по живым людям, а не по их условным изображениям на экране.

После того как майор милиции открыл в Москве стрельбу по прохожим и посетителям супермаркета, журналисты первым делом стали выяснять, как часто он играл в компьютерные игры и какие именно игры предпочитал. Их модель объяснения была чисто фрейм-аналитической: выяснить, в какой мере совершенное им действие является транспонированием другого действия насилия – рутинизированного и технически освоенного в фрейме игры.

Означает ли это, что трагические события лишаются своего экзистенциального статуса? Нет. Это те самые необратимые, тяжелые поступки, взрывающие рутину взаимодействий, и мы менее всего склонны подвергать сомнению их статус. Однако даже выход на улицу с оружием – это именно выход, переход, пересечение границы между двумя формами опыта и, в конечном итоге, между двумя формами социального существования. «Гарантом реальности» данного действия служит не необратимость перехода, а сам акт пересечения границы и возможность обращения одного контекста действия в другой.

Существует ли фундаментальное различие между Трансценденцией с большой буквы (т.е. не просто выходом из обстоятельств здесь-и-сейчас, но выходом, имеющим серьезные моральные импликации) и трансценденцией как операцией отстранения от повседневности (вроде той, что была описана нами на примере пассажира метро)? У нас нет обоснованного ответа на этот вопрос. Шюц опасливо разделяет эти виды трансценденции на апперцептивный и аппрезентативный (который, в свою очередь, может быть знаково-аппрезентативным и символически-аппрезентативным). Гофман, напротив, отказывается установить иерархию операций трансценденции. Его интерес сосредоточен на технической стороне рефрейминга и переключения фреймов: что изменяется и что остается прежним при трансформировании одной формы опыта в другую? Этот вопрос может быть адресован и превращению «перестрелки» в «пейнтбол», и транспонированию «пейнтбола» в «перестрелку». Ресурсов фрейм-анализа действительно недостаточно, чтобы концептуализировать необратимость перехода.

Впрочем...

Артур Кестлер в «Веке вождения» описывает группу философов (по всей видимости, французских экзистенциалистов), предпочитавших вести споры вдали от университетских кафедр, собиравшихся в кафе и сочетавших философию с употреблением горячительных напитков. Один из них, иллюстрируя некоторый тезис, опрокинул бутылку с алкоголем в аквариум, где жила любимая золотая рыбка хозяина. Хозяин подал в суд, и лидер философской группы решил самостоятельно выступить в качестве адвоката. Он выстроил защиту на фундаменте собственной философии: рыбка, заключенная в аквариуме, пребывала в состоянии неподлинного, неаутентичного и невыносимо легкого бытия, она жила в потоке повседневных практик пожирания и переваривания пищи... произошедшее позволило ей подняться над рутинной своей никчемной жизни, воссоединиться с рыбьим абсолютом и осознать себя настоящей Рыбой. А не в этом ли состоит предназначение каждого? Увы. Суд

оказался глух к теоретическим аргументам и потребовал возместить хозяину понесенные убытки.

...Когда лопата ломается о скальный грунт, мы должны прежде усомниться в качестве лопаты, и лишь затем – поверить в твердость онтологических пород.

Литература

1. *Вебер М.* Наука как призвание и профессия // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
2. *Волков В. В., Хархордин О. В.* Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008
3. *Пелевин В.* Чапаев и Пустота. М.: Эксмо, 2007.
4. *Толстой Л.Н.* Война и мир. М., 1970.
5. *Франкл В.* Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990.
6. *Уорнер У.* Знаки, символы и ментальное действие // Живые и мертвые. М.: Университетская книга, 2000.
7. *Шюц А.* Символ, реальность и общество // Мир, светящийся смыслом. М.: Росспэн, 2004.

На что можно указать пальцем? Фрейм, практика, вещь и кое-что еще

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее продуктивные подходы к определению предмета социологии. Доказывается, что предметом социологии является лишь то, на что можно указать пальцем. Указание пальцем рассматривается при этом в качестве исследовательской процедуры, отсылающей к конкретным способам организации и производства феноменов социального порядка. Критикуются три подхода к определению предмета социологии: анализ фреймов, теория практик и социология вещей, которые рассматривают наблюдаемые особенности социальных ситуаций как то, чему участники этих ситуаций должны придать смысл. В качестве альтернативы предлагается рассмотрение феноменов социального порядка как целиком и полностью локальных, осмысленных, компетентных, воспроизводимых согласованных последовательностей действий, осуществление которых обеспечивает для участников наблюдаемость и понятность текущей ситуации деятельности.

Ключевые слова. Фрейм, практика, вещь, предмет социологии, повседневный мир, феномены порядка, социальные ситуации, локальные действия.

*Вот горшок пустой,
Он — предмет простой,
Он никуда не денется!
И потому горшок пустой
Гораздо выше ценится!*

Приведенная в качестве эпиграфа шумелка *абсолютно точно и исчерпывающе* описывает свойства предмета социологического исследования: 1) предмет социологии *конкретен*, 2) предмет социологии *пуст*, 3) предмет социологии *прост*, 4) предмет социологии *бессмертен*, 5) предмет социологии *ценен*. Я полагаю, что первые четыре качества — конкретность, пустота, простота и бессмертность, — являются не метафорическим описанием предмета социологии, а его обнаружимыми и анализируемыми чертами. Более того, эти черты специфицируют предмет социологии как феноменальную данность социального порядка для его производителей — рядовых членов общества. На мой взгляд, пятое качество — ценность — заключается в возможности респецификации предмета любого социологического исследования как здесь и теперь осуществимого, объяснимого, ситуационного, описуемого, понятного, доступного феномена порядка без обращения к какой бы то ни было аналитической схеме помимо той, которая наблюдаема и достижима в качестве используемой самими участниками текущей ситуации для ее компетентного, адекватного, осмысленного производства как локально свидетельствуемой, организованной и организационной последовательности согласованных действий.

Так описываемый предмет социологического исследования настолько зрим, слышим и осязаем, что допускает указание на него пальцем. «Указание пальцем» следует понимать процедурно: *социологическое исследование заключается в указании пальцем*. Данная процедурность может быть сформулирована в мягкой и жесткой формах. Мягкая форма такова: указание пальцем является *необходимым, но не единственным* действием социолога.

* **Корбут Андрей Михайлович** – начальник отдела стратегии образования Центра проблем образования Белорусского государственного университета.

© Корбут А., 2009.

© Центр фундаментальной социологии, 2009.

Жесткая форма такова: указание пальцем является *единственным и специфическим* действием социолога без каких бы то ни было альтернатив. Безальтернативность этого жеста состоит в том, что указуемость пальцем является неотъемлемой, наблюдаемой и производимой чертой *самих* феноменов порядка, а не профессионального социологического исследования. В дальнейшем я попробую показать, что указание пальцем возможно только в жесткой форме, поскольку лишь она обеспечивает для социологии процедурную полноту и достаточность указания пальцем.

Указание пальцем уже тематизировалось в качестве социологического способа действия. Об этом говорят как минимум три цитаты. В «Правилах социологического метода» Дюркгейм, критикуя политэкономия Милля, пишет: «...предмет политической экономии, понятой таким образом, состоит не из реальностей, которые могли бы быть указаны пальцем, а из простых возможностей, из чистых понятий разума, т. е. из фактов, которые экономист понимает как относящиеся к означенной цели и в том виде, как он их понимает» [4, с. 88]. В «Анализе фреймов» Гофман, рассматривая организацию негативного опыта, пишет: «Обычной и самой скромной формой нарушения фрейма можно считать „перебивание“ говорящего — форма поведения, на которую легче указать пальцем, чем проанализировать» [3, с. 525]. В «Заметках по основаниям математики» Витгенштейн, полемизируя с воображаемым собеседником, пишет: «„Чтобы быть практическим, вычисление должно обнаруживать факты. А на это способен только эксперимент“. Но какие „факты“? Полагаешь ли ты, что можешь продемонстрировать, какие факты имеются в виду, например, указывая на них пальцем? Прояснит ли это роль, которую играет „установление“ факта? — А что, если математика определяет характер того, что ты называешь „фактом“!» [1, с. 182]. Во всех трех высказываниях «указание пальцем» противопоставляется той или иной «конструктивной» деятельности (в первом случае — «пониманию», во втором — «анализу», в третьем — «определению»). Во всех трех случаях указание пальцем рассматривается как неразрывно связанное с характером того, на что указывается, и заключающееся в указании на него как на нечто само собой разумеющееся, очевидное и не требующее уточнений. Во всех трех цитатах эта связь рассматривается как целиком обеспечивающая осмысленность действия указания пальцем. Указание пальцем приобретает понятность *только лишь за счет* того, на что указывается. Эти «только лишь» и «за счет» требуют прояснения, поскольку они являются определяющими аспекта характеристики социологического исследования как указания пальцем.

Если деятельность социолога заключается целиком и исключительно в указании пальцем, тогда он не может описывать наблюдаемые особенности социального поведения членов общества как случаи классовой структуры, культурных правил, социальной стратификации, символического капитала, ролевой идентификации и пр., поскольку тогда для него указание пальцем будет состоять в документальной интерпретации того, на что указывается, как отсылающего к тому, на что нельзя указать пальцем, и это «неуказуемое пальцем» будет выступать для него одновременно конечным «смыслом» наблюдаемого социального поведения и условием понятности совершаемого им указания как компетентного социологического действия. Следовательно, указание пальцем становится тем, что может быть совершено, только когда есть то, *на что* указывается, и то, *откуда* указывается, причем это «откуда» становится обязательным условием доступности этого «что», его существования в качестве предмета указания. Его существование в качестве предмета указания должно описываться теперь как характеристика его существования в качестве элемента социального порядка, выражающегося в наблюдаемых особенностях поведения членов общества и обеспечивающего их мотивами, значениями, языком, целями, суждениями и пр. В итоге процедура указания пальцем утрачивает тот характер, который она получает в трех указанных выше цитатах, но не потому, что деятельность указания пальцем переопределяется, а потому, что она считается «не достаточной» либо вообще «не релевантной» для осуществления социологического исследования.

Следовательно, я исключаю из дальнейшего рассмотрения большую часть классических социологических тем, практик, методов, понятий, описаний и пр. Остаются три, на мой взгляд, единственные кандидатуры на «что» указания пальцем: фрейм, практика, вещь. Я рассмотрю их одну за другой и попытаюсь показать, что их неадекватность для описания феноменов социального порядка обусловлена тем, что каждый из соответствующих подходов, признавая конкретность предмета социологического исследования, игнорирует одну из трех остальных его черт и все они игнорируют его пятую черту.

Для конкретизации обсуждения я буду использовать фотографию, сделанную в поезде метрополитена и запечатлевшую одну из повсеместных, привычных и часто возникающих ситуаций: входя в пустой (или мало заполненный) вагон, пассажиры чаще всего садятся «у поручней». На снимке видно, что практически все вошедшие (фотография была сделана на первой станции ветки метро) расположились именно таким образом. Далее меня будет интересовать только эта и никакая другая наблюдаемая черта зафиксированных фотоаппаратом обстоятельств совершения рядовой поездки в метро. Я буду рассматривать ее как *одну из* черт рядовой поездки в метро, которая поддается фиксации с помощью простого фотографирования, т. е. вне зависимости от качества использованной аппаратуры и четкости полученного снимка. Данного снимка достаточно как для целей демонстрации, так и для целей анализа реальной деятельности поездки в метро.

Вот эта фотография:



Первый кандидат на предмет указания пальцем — фрейм, как он понимается Гофманом. Для прояснения того, в каком смысле Гофман говорит о фреймах и почему на так понятый фрейм нельзя указать пальцем, я рассмотрю пример, который позволит обнаружить способ концептуализации фрейма Гофманом как доступный через конкретную деятельность — деятельность перевода, и попытаюсь показать, что именно *эта* доступность свидетельствует о невозможности указания пальцем на фрейм.

Сначала я приведу оригинальный фрагмент книги Гофмана «Анализ фреймов», а затем дам два варианта перевода этого отрывка: первый (А) взят из единственного опубликованного полного русского перевода, второй (Б) сделал я.

Оригинал: «I assume that definitions of a situation are built up in accordance with principles of organization which govern events — at least social ones — and our subjective involvement in them; frame is the word I use to refer to such of these basic elements as I am able to identify. That is my definition of frame» [5, p. 10–11].

Перевод А: «Определения ситуации создаются, во-первых, в соответствии с принципами социальной организации событий и, во-вторых, в зависимости от субъективной вовлеченности в них. Словом „фрейм“ я буду обозначать всё, что описывается этими двумя элементами» [3, с. 71].

Перевод Б: «Я полагаю, что определения ситуации создаются в соответствии с принципами организации, которые управляют событиями — по крайней мере социальными — и нашей субъективной вовлеченностью в них; я использую слово „фрейм“ для обозначения этих базовых элементов, в том виде, в каком я способен их идентифицировать. Таково мое определение фрейма».

Меня впечатляет разница переводов. С чем она связана? Чтобы ответить на этот вопрос, я, вместо сопоставления двух данных вариантов перевода как адекватных или неадекватных оригиналу и выяснения на этом основании смысла оригинального отрывка, т. е. того, что на самом деле имеет в виду Гофман, попробую сравнить ту работу, которую предпринимают переводчики в первом и во втором случаях. Я не буду оценивать правильность переводов. Для меня вопрос будет состоять в том, каким образом организуется работа перевода и что эта работа говорит нам о понимании фрейма Гофманом. Я полагаю, что ремесленная деятельность каждого из переводчиков может *кое-что* рассказать о том, какую работу совершает в своем тексте Гофман. Я полагаю, что деятельность переводчика *является* одним из *способов* обнаружения этой работы и одновременно — *основанием* для такого обнаружения, т. е. она как *сама* направлена на обнаружение этой работы, так и обнаруживает ее *собой*.

Мой анализ не является лингвистическим, поэтому я буду использовать лингвистические категории произвольным образом. Я не намерен описывать *всё*, что делают переводчики в данном случае; отмечу лишь некоторые особенности их деятельности.

Следующие аспекты перевода А обращают на себя внимание. Переводчик вводит перечисление: «во-первых», «во-вторых». Переводчик не сохраняет оригинальную структуру предложений, сохраняя почти полностью порядок слов. Переводчик относит прилагательное «социальный» к «организации». Переводчик опускает почти все местоимения и местоименные конструкции («I assume», «as I am able to identify», «our», «That is my definition of frame»). Переводчик использует будущее время там, где в оригинале стоит настоящее время («I use to refer» — «я буду обозначать»). В переводе, в отличие от оригинала, не говорится о том, что здесь дается определение («definition»).

Перевод Б полностью сохраняет структуру предложений и почти полностью — порядок слов. Переводчик вводит отсутствующее в оригинале местоимение «их» («их идентифицировать»).

Этих наблюдений достаточно, чтобы дать предварительное описание работы, совершаемой переводчиками. На мой взгляд (здесь «на мой взгляд» одновременно указывает на специфический характер «достаточности» сделанных выше наблюдений, заключающийся в признании принципиальной *возможности* обнаружить в этих небольших отрывках как работу переводчика, так и работу Гофмана, и на то, что последующие высказывания, обоснованием которых должны служить мои наблюдения, могут быть скорректированы в результате дальнейшего чтения как данного оригинального отрывка «Анализа фреймов» и его переводов, так и полных текстов «Анализа фреймов» и его переводов), работа переводчиков в обоих случаях заключалась в том, что в процессе перевода каждый из них решал: ●) как переводить термины, ●) как переводить фразы, ●) какую пунктуацию

использовать, ●) в каком порядке располагать слова, ●) сохранять или не сохранять слова, фразы и пунктуацию оригинала, ●) использовать или не использовать слова, отсутствующие в оригинале, и каждый из этих аспектов их деятельности носил сугубо практический характер, т. е. заключался, например, в поиске значений в словаре, или в чтении других текстов Гофмана, или в чтении других переводов Гофмана, или в перестановке слов в предварительном варианте перевода, или в просмотре других фрагментов «Анализа фреймов» и пр. Для меня, как читателя этих двух переводов *как* переводов, данные особенности ремесленной работы переводчиков являются *зримыми* особенностями их текстов, благодаря которым я обнаруживаю работу, совершаемую Гофманом: читая переводы как тексты Гофмана на русском языке, я вижу, что Гофман дает *определение* фрейма. В переводе А открыто называются «два элемента» фрейма («принципы социальной организации событий» и «субъективная вовлеченность»), выделенные таким образом («во-первых», «во-вторых»), что читатель может легко эти два элемента идентифицировать. Перевод Б тоже читается как определение фрейма, хотя в нем иная последовательность слов: в отличие от перевода А, перевод Б представляет собой попытку сохранить максимальное техническое соответствие оригиналу. Но и в том, и в другом случае перевод является свидетельствуемой характеристикой осуществляемой ремесленной работы, обладающей указанными выше чертами. Если бы социолог попытался указать пальцем на фрейм перевода, предметом его указания, вероятно, было бы то, каким образом переводчики понимают сущность перевода (например, в первом случае — как «пересказ», а во втором — как «максимально полное соответствие») и какие принципы организации лежат в основе осуществляемой ими практики (например, «переводить термины в социологических сочинениях единообразно по всему тексту»). Но это значило бы упустить *собственно* работу перевода, которая носит целиком ситуативный характер и состоит в таком осуществлении перевода, что у читателя, который читает перевод как последовательность фраз на русском языке, не возникает необходимости обращаться к оригиналу для прояснения смысла сказанного Гофманом, *поскольку* смысл сказанного Гофманом заключается в совершаемой им работе написания социологического текста, содержащего определение фрейма, и *поскольку* эта работа является обнаружимой для переводчика через работу перевода, а для читателя — через работу чтения перевода (и для меня — через работу чтения перевода *как* перевода). При этом переводчик выстраивает слова русского языка в такой последовательности, чтобы она была *переводом* Гофмана, который *как-то* определяет фрейм. Переводчик не пересказывает Гофмана, не трактует Гофмана, не комментирует Гофмана. Он *переводит* Гофмана, и слова и фразы оригинала, доступные как слова и фразы русского языка так, как это указано в словарях, становятся определением фрейма Гофманом, где «становятся» означает «выступают результатом организованной и упорядоченной работы переводчика».

В связи с этими соображениями возникают два вопроса: 1) что они говорят о концептуализации фрейма Гофманом? и 2) что они говорят о возможности или невозможности указания пальцем на фрейм?

Относительно первого вопроса можно сделать следующие уточнения. Я могу указать по крайней мере на два различия в переводах. Во-первых, в переводе А принципы организации называются «социальными» и ставятся в один ряд с субъективной вовлеченностью в них, в силу чего можно сделать вывод, что субъективная вовлеченность не подчиняется этим социальным принципам. В переводе Б утверждается, что субъективная вовлеченность, как и события, является организованной и эта организованность основана на определенных принципах. Во-вторых, в переводе Б, в отличие от перевода А, утверждается, что эти две организованные составляющие могут быть идентифицированы. Вопрос о том, каким образом Гофман концептуализирует фрейм, является для меня целиком практическим вопросом, связанным с чтением оригинального текста и двух его переводов. Я думаю, что даже если бы я читал только оригинальный текст, я бы все равно был вынужден предпринять определенную работу, чтобы выяснить, о чем пишет Гофман. И это «о чем» для меня тоже

заклучалось бы в том, «как» пишет Гофман. Выявления того, *что* говорит Гофман, исчерпывающим процедурным образом связано с тем, *как* он говорит, — в данном случае, с тем, что он дает определение. Я обнаруживаю это *через* работу чтения перевода. Именно *так* я прихожу к своим выводам. Мне не важно, как еще я *мог бы* к ним прийти. И мои выводы состоят в следующем. Я полагаю, что Гофман пытается обнаружить упорядоченность не только тех или иных социальных событий, но и нашего способа участия в них. Я также полагаю, что проблема идентификации этих двух порядков не является маргинальной для его подхода, поскольку он не строит теорию социального порядка, а пытается обнаружить принципы его осуществления, понимая, что эти принципы должны быть потенциально анализируемы им как отстраненным свидетелем конкретных событий наравне с непосредственными участниками. Понимать событие определенным образом — значит участвовать в его организации и специфически его толковать. Как форма деятельности и интерпретации, фрейм свидетельствует об изоморфизме восприятия, т. е. способа интерпретации, структуре воспринимаемого, т. е. способе организации ситуации. Однако провозглашение этого изоморфизма всегда подразумевает, что восприятие может «дать сбой», т. е. что одно и то же действие может получить разное толкование. Можно сказать, что для Гофмана первоочередным практическим вопросом, стоящим перед членом общества в любой ситуации, является вопрос: «Что здесь происходит?», и Гофман считает этот вопрос целиком практическим. Однако его практичность является не столько организационной чертой ситуации действий, сколько чертой организованной структуры действий в ситуации. Это значит, что анализ фреймов изначально предполагает существование границ между фреймами и их смену как условие анализируемости значений и практик. Указывая на фреймы, аналитик указывает на социальные порядки, которые отделены друг от друга и предполагают различные формы действия и интерпретации.

Относительно второго вопроса можно сделать следующие уточнения. Если попытаться обнаружить единый фрейм перевода, который применялся обоими переводчиками, либо различные фреймы, применявшиеся каждым из них, то обнаружится, что два предложенных варианта перевода не являются интерпретациями оригинального текста и не могут быть описаны как построенные по определенным принципам. Чтобы понять работу переводчиков, мы должны понять, каким образом они переводят так, что, сталкиваясь с данным непредсказуемым, уникальным, идиосинкразическим текстом на английском языке, они решают, *как* переводить, чтобы их перевод был не только *читаем* определенным образом, но и представлял собой способ *обнаружения* той работы, которую совершает в своем тексте автор оригинального текста. Работа переводчика заключается *именно* в этом, а не в следовании принципам переводческого ремесла и их применении в актуальных ситуациях деятельности, поскольку «актуальная ситуация деятельности» заключается в опознаваемом и компетентном осуществлении перевода. Актуальная ситуация перевода как ремесленной практики не имеет ни начала, ни конца: она началась, реализуется и заканчивается не как осуществляемая вовлеченность данного переводчика в работу интерпретации оригинального текста, а как последовательность ситуационных безличных действий, локальная осмысленность которых является основанием для их оценки, корректировки и описания как воспроизводимых феноменов порядка перевода.

То, как понимает фреймы Гофман, и приведенный выше пример работы переводчиков позволяют сформулировать два резюмирующих утверждения, обосновывающих невозможность указания пальцем на фрейм: а) *мы не живем в мире событий*, поскольку нельзя обнаружить границ, которые бы были границами такого рода событий, и б) *мы не интерпретируем происходящее*, поскольку происходящее существует для нас в той мере, в какой — и таким образом, что — его феноменальные черты удовлетворяют всем нашим практическим целям. Событие поездки в метро отделимо от других событий, если и только если исследователь рассматривает «поездку в метро» как интерпретативную категорию, не зависящую от конкретных особенностей ситуации. Тогда он способен утверждать, что «поездка в метро может осуществляться миллионом способов, однако она всегда должна

выглядеть как поездка в метро». Люди могут, войдя в пустой вагон, садиться у поручней, но могут и оставаться стоять у входа или действовать еще каким-то образом, не разрушающим понимание происходящего как поездки в метро. Но достижение *понимания* происходящего и достижение *понятности* происходящего — это два различных достижения, поскольку в первом случае речь идет об *определенном* понимании, которое заключается в интерпретировании происходящего участниками текущей ситуации и в выявлении этой интерпретации ими друг у друга и исследователем — у них, тогда как во втором случае речь идет о *наблюдаемом* характере действий, специфические черты которых являются *единственным* и *достаточным* основанием для практической организации совместного поведения конкретной когорты людей. Назвать наблюдаемую рассадку пассажиров в пустом вагоне «элементом фрейма поездки в метро» можно только в том случае, если использовать воспринимаемую нормальность такой рассадки для *концептуализации* естественной организации ситуации как *направленной* на производство этой ситуации в соответствии с *необходимыми* принципами ее осуществления и интерпретации в качестве *данного типа* ситуации. Работа производства ситуации при этом заключается в опознании и исполнении определенных действий с учетом их принадлежности или непринадлежности к фрейму ситуации, т. е. в постоянной идентификации всех наблюдаемых черт своих и чужих действий как свидетельства, свойства и рамки происходящего. Более простая процедура состояла бы в рассмотрении воспринимаемой нормальности рассадки пассажиров в вагоне метро как *достаточной* для всех практических целей пассажиров, которым не нужно идентифицировать происходящее здесь и теперь, поскольку их действия не направлены на производство описуемости, осмысленности, резонности такой рассадки в качестве организованной согласно фрейму ситуации деятельности, а заключаются в этих чертах как наблюдаемых и свидетельствуемых всеми пассажирами, прошлыми, настоящими и будущими. Пассажиру, входящему в пустой вагон, нужно просто зайти вот в эту дверь и сесть вот на это место. *Само* это действие является целиком и полностью практическим, поскольку оно формулируется как непрерывное осуществление: зайти-и-сесть-возле-поручней-чтобы-не-сидеть-рядом-с-другими или зайти-и-сесть-возле-поручней-чтобы-легче-было-выйти-на-своей-станции (см. об этом ниже). Каково бы ни было конкретное осуществление поездки в метро, оно всегда заключается в работе входа в вагон, выбора места, выхода из вагона без необходимости придания происходящему характера «поездки в метро». Действие каждого «такого же пассажира» не нужно идентифицировать как соответствующее либо нет фрейму поездки в метро. Поездка в метро состоит в согласованной деятельности когорты пассажиров, которая осуществляется мгновенно, быстро, легко и просто. Поэтому исследователь, указывающий на фреймы, всегда сначала должен указать на эту деятельность как на необходимое условие понимания любым компетентным слушателем того, о чем говорит исследователь.

Следовательно, на фрейм нельзя указать пальцем. Можно ли указать пальцем на практику?

В книге В.Волкова и О.Хархордина «Теория практик» на странице 20 описывается следующий пример и дается следующее пояснение:

«В Санкт-Петербурге на автобусной остановке на проспекте Космонавтов к столбу прибита табличка со следующим содержанием:

Памятники
Надписи и портреты
Плитки
адрес: Свеаборгская д. 58
телефон: 298-44-99

Более никаких пояснений нет. Тем не менее предполагается, и совершенно обоснованно, что они не нужны: любой человек будет в состоянии правильно понять, а значит,

воспользоваться по необходимости данным адресом или телефоном. Действительно, мы понимаем, что речь идет о кладбище, похоронах и обо всём, что связано с этим ритуалом. Но как же мы понимаем, что имеются в виду не памятники архитектуры, не живописные портреты и не кафельные плитки, а некоторые надгробные атрибуты? Здесь уместно сказать о фоновом или неявном знании или о знании фоновых практик обращения с умершими, как это принято в нашей культуре. Именно это знание придает однозначность и гарантирует беспроблемность коммуникации: это наше общее культурное знание, постольку поскольку мы все разделяем данную форму жизни (в этом случае формой жизни выступает как бы форма смерти)» [2, с. 20].

Повторяю: для однозначного и беспроблемного чтения таблички на столбе на автобусной остановке в Санкт-Петербурге читающий должен знать практики обращения с умершими. Именно в этом смысле говорится о практиках. Слова «памятники», «надписи и портреты» и «плитки» понятны, только если читающий соотносит их с такого рода практиками, которые придают значение как данным словам, так и действиям, составляющим соответствующий ритуал, а также действиям, связанным с обращениям к исполнителям этого ритуала. В приведенном отрывке ничего не говорится о том, должен ли читающий владеть практикой чтения, распространенной в его культуре, но можно вполне обоснованно заключить, что да: он должен уметь определенным образом читать тексты. В данном отрывке также ничего не говорится, должен ли читающий владеть практикой чтения табличек на столбах на автобусных остановках в Санкт-Петербурге, но можно вполне обоснованно предположить, что да: он должен понимать, что это «рекламное» объявление и что оно занимает то место, которое обычно занимают рекламные объявления. И даже если некоторые особенности описания могут показаться неочевидными (например, можно было бы спросить, что значит «прибита»: прибита гвоздем к деревянному столбу или прибита гвоздем к железобетонному столбу? если первое, то что делает деревянный столб на автобусной остановке в Санкт-Петербурге? если второе, то как это технически осуществимо? и т. д.), предполагается, что для читателя книги этого описания вполне достаточно, чтобы понять, о чем говорит автор, и чтобы это описание было «реалистичным» в той мере, в какой описываемая ситуация реалистична для ее непосредственных участников.

Авторы полагают, что понимание приведенной выше таблички предполагает знание и применение целого набора практик, которые широко распространены и всем известны. И это можно сказать о любой ситуации, в которой оказывается любой член общества. Чтобы показать, почему это не так и почему, соответственно, нельзя указать пальцем на практику, я составлю свое описание, которое могло бы появиться на странице 20 какой-то другой книги. Вот оно:

«Утром, направляясь в университет на работу и ожидая автобуса на остановке на проспекте Космонавтов (в Санкт-Петербурге), я увидел следующую бумажку, приклеенную к столбу:



Я без труда понимаю, что речь идет о похоронных услугах. Откуда я это знаю? Я знаю это из следующего:

-) читая это рекламное объявление, я читаю его именно как рекламное объявление, составляющее часть данной автобусной остановки и расположенное так, чтобы любой пассажир мог его прочесть и прочесть именно как рекламное объявление на данной автобусной остановке: на данном столбе, на данной высоте, на данного размера листке бумаги, набранное данным шрифтом, содержащее данный текст, рядом с другими объявлениями;

-) я понимаю, что это рекламное объявление адресовано людям, нуждающимся в похоронных услугах (но это не запрещает мне воспользоваться им другим образом, например, если я намерен узнать стоимость некоторых товаров у конкурентов, занимающихся тем же бизнесом, что и я), и что речь идет о конкретных похоронных услугах, связанных с оформлением могил, т. е. что именно этим они (люди, находящиеся по соответствующему адресу и доступные по соответствующему телефону) занимаются;

-) я понимаю, что автор этого рекламного объявления адресует его к любым его читателям, но так, чтобы любой читатель мог определиться в отношении этого объявления, будет ли он обращаться по указанным адресу и телефону, или нет».

Второе описание показывает, что для понимания практики чтения данного рекламного объявления нам не нужно указывать на знание каких-либо практик. Нам достаточно будет указать на то, как осуществляется само это чтение. Смысл слов, напечатанных на листке бумаги или написанных на табличке, не обусловлен имеющимся у читателя знанием похоронных ритуалов и услуг, скорее, это знание заключается в локальной деятельности чтения данного рекламного объявления. Чтобы описывать ситуацию так, как она описывается в первом случае, нам нужно отделить рекламное объявление от живой, обоснованной, осмысленной практики ее чтения. Только тогда вопрос о том, что значит слово «плитки», если есть кафельные плитки, шоколадные плитки, тротуарные плитки и пр., обретает смысл. И только тогда в качестве ответа можно указывать на ранее освоенные фоновые практики или знание о них. Иными словами, данный вопрос обнаруживает

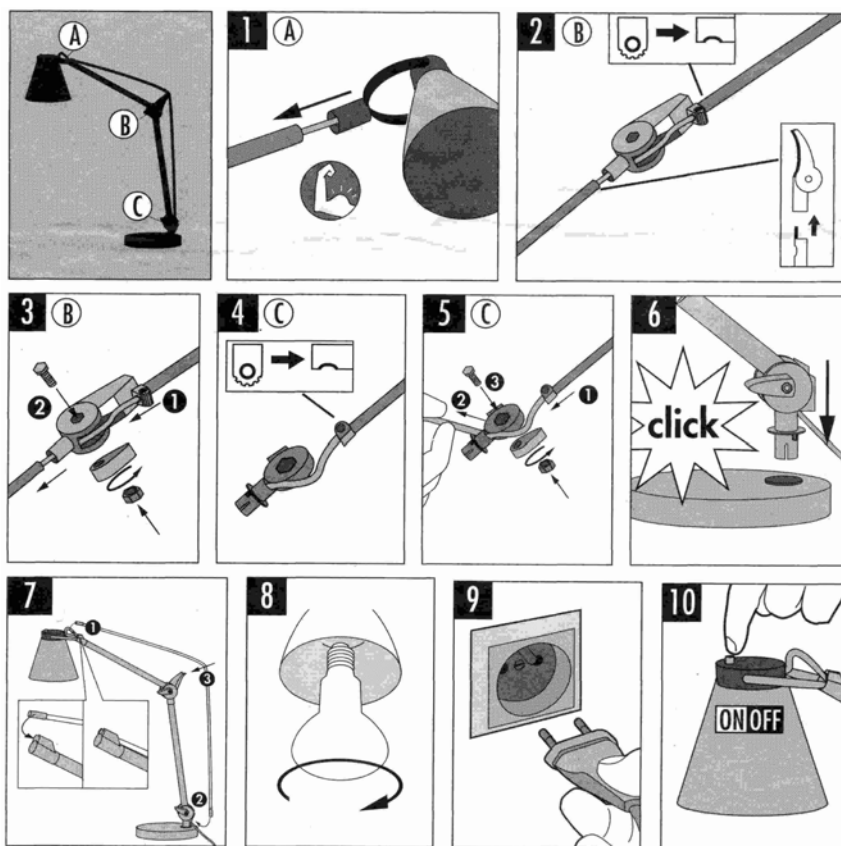
особенности исследовательской практики социолога и написания им социологических текстов, но не особенности реального чтения данного объявления на данной автобусной остановке данным компетентным членом общества.

Из сопоставления двух вышеприведенных описаний можно сделать вывод: условием указания на практики как на механизм производства социального порядка является игнорирование самой практики этого производства. Данное игнорирование заключается в том, что социальный порядок полагается *состоящим* из практик, причем последние считаются не только его *содержанием*, но и *принципом* его функционирования. Это означает следующее. Что касается содержания, то социолог, пытающийся указать пальцем на практику, полагает, что, входя в вагон метро и садясь возле поручней, пассажир должен знать (и знает) не только как это делать, но и что такое метро, как оно работает, как оно устроено и пр. Его действия, чтобы быть практикой, должны соотноситься с правилами, которые ему предоставляет культура (следовать им или нарушать их). Правила здесь — это как схема поведения, так и универсальная черта любого действия, обеспечивающая его единообразное осуществление и понимание рядовыми членами общества и социологами. Практики — это стабильные, воспроизводимые конфигурации действий, действующих и правил. Но они не наблюдаются в вагоне метро. Действия пассажиров, попавших в объектив фотокамеры, не являются действиями по правилам. Тот, кто хочет обнаружить практики, сначала обнаруживает пустоту социального порядка, не заполненного никакими практиками, но *как-то* обнаружимого, *после* чего заполняет ее практиками. Однако сначала она должна быть опознана, т. е. специфицирована как обнаружимость неисправимой ситуационности любого действия в самих деталях этого действия. Именно эта пустота является условием указания пальцем на конкретные феномены порядка, и именно она обеспечивает понимание высказываний социологов, говорящих о практиках. Что касается принципа, то использование категории практик как содержательной категории предполагает следующую максимум функционирования социального порядка: «действуй как заведено». «Какзаведенность» тут отсылает не к массовости, а к повседневности практики как того, что может осваиваться, узнаваться и применяться не только мной, но и любым другим добросовестным членом общества. В таком случае успешность выполнения действия должна восприниматься как доказательство знания тем, кто его исполняет, соответствующей практики. «Какзаведенность» обозначает автоматичность практических осуществлений, в том смысле, что любой член общества переносит из ситуации в ситуацию специфические навыки и знания, наличие или отсутствие которых может и должно замечаться и корректироваться окружающими или им самим. Всего этого не наблюдается ни на размещенной выше фотографии вагона метро, ни в самом вагоне. Пассажиры, садясь возле поручней, действуют не «как все», а «вместе со всеми». Если учесть, что, говоря «как все», я подразумеваю не «многие» или «всё население страны», а «мои учителя», а говоря «вместе со всеми», я имею в виду «всех, кто едет со мной в вагоне», тогда можно утверждать, что «как все» не подходит на роль принципа функционирования феноменов социального порядка в силу своей содержательной полноты, самой по себе объясняющей и определяющей способы и результаты описания этих феноменов, в то время как «вместе со всеми» вообще снимает вопрос о такого рода принципе, поскольку, будучи пустым, всегда требует конкретизации путем описания изначально и насквозь объяснимых локальных феноменов порядка, заключающихся в осуществляемой когортой людей работе производства этих феноменов. Знание практик должно быть респецифицировано как зримая, наблюдаемая черта этого производства, а не его условие, что, в свою очередь, требует респецификации педагогики не как отдельной практики освоения практик, а как неотъемлемой характеристики любого действия, обеспечивающей его воспроизводимость и бессмертность (см. об этом ниже).

Осталось выяснить, можно ли указать пальцем на вещь, если нельзя указать пальцем на фрейм и на практику.

В качестве иллюстрации я рассмотрю следующий пример.

Недавно я купил настольную лампу. Покупая ее, я был уверен, что она будет продаваться в том виде, в каком она стояла на стеллаже, однако после того, как продавщица достала из шкафчика внизу стеллажа упакованную лампу и я вместе с ней (продавщицей) подошел к кассе, она (продавщица), как, видимо, и положено делать в таком случае, открыла коробку и начала доставать оттуда отдельные части лампы, чтобы показать мне, что я покупаю полный комплект и что к магазину претензий быть не должно. Я был несколько удивлен таким поворотом дел, однако решил, что наверняка сборка лампы будет не таким уж сложным мероприятием, тем более что в коробке обязательно должна быть инструкция по сборке. Я оказался прав относительно второго и не совсем прав относительно первого. Сборка заняла некоторое время и вызвала определенные затруднения, которые, впрочем, были быстро преодолены. Я не буду останавливаться на этих затруднениях, а сосредоточу внимание на инструкции, которая прилагалась к лампе, и использовании этой инструкции в процессе сборки. Инструкция выглядела следующим образом:



Для того чтобы воспользоваться этой инструкцией, мне нужно было определенным образом ее прочитать и соотнести с реальными действиями и реальными деталями лампы, обнаруженными в коробке. Мое чтение заключалось в следующем. Я читал инструкцию как последовательность картинок. У меня не было проблем с определением последовательности картинок, поскольку картинки идут слева направо сверху вниз и обозначены соответствующими порядковыми номерами. Для меня последовательность картинок означала последовательность сборки лампы. Я полагал, что только такая последовательность обеспечит успешность сборки. Я читал инструкцию как образец тех действий, которые приведут к необходимому результату. Более того, я рассматривал инструкцию как достаточное и исчерпывающее описание нужных действий сборки. Я также полагал, что данная инструкция должны быть применима к данной конкретной лампе. По мере чтения изображений я соотносил их со своей конкретной лампой как изображения ламп именно данной модели. Я находил прямые соответствия тому, что наблюдал, и я определял, что я наблюдаю, в зависимости от того, что я видел в инструкции, и наоборот. Я искал нужные

мне детали и опознавал их в качестве таковых, сопоставляя рисунки этих деталей и реальные, наблюдаемые, материальные предметы, извлеченные из коробки, а также опознавал детали рисунков в зависимости от имеющихся на руках предметов. По мере возникновения проблем, я решал их либо обращаясь к инструкции и тщательно ее изучая, либо подробно рассматривая саму лампу и ее компоненты. Я исходил из того, что все детали, которые находятся в коробке, должны занять надлежащее место в общей конструкции. Я не действовал по принципу «сначала посмотри в инструкцию, потом сделай». Некоторые действия я совершал, не советуясь с инструкцией. По мере сборки я все яснее понимал, что именно изображено в инструкции и в чем именно заключается ее инструктивность, т. е. как и зачем обозначаются те или иные элементы лампы и действия и насколько адекватно изображаемое реальным особенностям предметов и моих действий с ними. По мере сборки я также все яснее понимал, что я должен делать дальше, чтобы получить лампу в том виде, в каком я ее наблюдал в магазине и в каком она была изображена на коробке. Вопрос «Что делать дальше?» определялся для меня ходом сборки лампы, а не ходом чтения инструкции. Я обращался к определенной картинке либо испытывая затруднение, либо закончив делать то, что я делал, т. е. я рассматривал отдельные картинки как обозначающие относительно завершённые этапы сборки, но при этом определение того, где я сейчас нахожусь, заключалось не в установлении порядкового номера картинки, а в соотнесении того, что делаю в данный момент, с картинкой, подходящей к наблюдаемой мной реальной сцене действия.

Данный пример проясняет, почему нельзя указывать пальцем на вещь, если мы хотим указать на феномены социального порядка. Моя работа сборки лампы — это не просто последовательность манипуляций с отдельными деталями плюс последовательность чтения инструкции, которые можно было бы целиком и полностью описать и объяснить, если разложить на столе использованный мной комплект деталей, инструкцию по их применению и содержимое моей головы. Проблемы, с которыми я сталкивался, не являются следствием недостаточности и неточности инструкций, потому что *любые* инструкции недостаточны и неточны. Мои действия с предметами заключались для меня в компетентном осуществлении сборки лампы, причем работа этой сборки не вытекала из и не сводилась к преследуемой мной цели. Последовательное разворачивание сборки обладало чертами, обеспечивавшими упорядоченность моих действий. Упорядоченность моих действий заключалась в осуществлении точной, эффективной, описуемой, адекватной сборки лампы. Материальность моей деятельности состояла в наблюдаемости феноменальных свойств порядка, а не в том, что сначала я использую один предмет, потом другой, за ним третий и т. д. так, что либо эти предметы «подсказывают мне» как с ними поступать, либо я придаю им смысл в зависимости от инструкции и тех навыков и знаний, которые у меня имеются. Возможное возражение состоит в следующем: речь идет о сборке лампы, а деятельность сборки — это деятельность, неотъемлемой и изначально подразумеваемой чертой которой является ее успешность или не успешность, поэтому нельзя распространять сделанные выше наблюдения, например, на деятельность использования уже собранной лампы. На это можно ответить так: если мы можем описать действия пассажиров, входящих в пустой вагон метро и сающихся возле поручней, как взаимодействие с вещами, то только при условии, что сначала мы каким-то образом выделим те «вещи», с которыми они взаимодействуют, например, пол вагона, сиденья и поручни. Под «выделим» я имею в виду: «опишем их в качестве пола, сиденья или поручня таким образом, чтобы их описание было достаточным для их концептуализации в качестве вещей без отсылки к той деятельности, в рамках которой их использование является осмысленным и достаточным для всех практических целей». И даже если утверждается, что данные вещи не предписывают пассажирам манеру поведения и не являются лишь материалом для проекции ими тех или иных произвольных значений, а вступают с пассажирами во взаимодействие точно так же, как те вступают во взаимодействие с ними, всё равно указывать на такого рода «вещи» — значит пропускать всю ту работу, которая неисправимо ситуационным образом протекает в складывающихся

обстоятельствах, включающих вот этот пол, вот это сиденье и вот эти поручни в качестве элементов локальной истории компетентного осуществления поездки в метро как насквозь объяснимой таким и никаким другим способом рассадки. Следовательно, социолог, указывающий пальцем на вещи, не способен схватить бессмертность феноменов социального порядка, так как их бессмертность заключается в том, что *кто бы ни* входил в данную локальную производящую когорту и *когда бы ни* осуществлялась работа производства данного феномена, она всегда совершается *снова в первый раз* и является свидетельствуемой, наблюдаемой, осуществимой, понятной, доступной, т. е. пальцем-на-нее-указуемой, изнутри складывающихся обстоятельств деятельности, которая могла бы продолжаться до бесконечности. На нее можно указать пальцем *именно и только* потому, что она бессмертна. Пытаясь указать на вещь, мы теряем эту бессмертность из виду, связывая человеческую деятельность с положением вещей как тем, с чем имеют дело люди, и кладя положение людей в отношении положения вещей в основу феноменального порядка социальной жизни. Это не позволяет объяснить удивительную, невероятную, обыденную, повсеместную, каждый день производимую устойчивость, стабильность, воспроизводимость, единообразность, методичность, бессмертность социальных действий, демонстрирующих свойства «и так далее», «пока что», «пусть будет», «тем не менее» и пр.

Вывод: на вещь тоже нельзя указать пальцем.

На что же «еще» тогда можно указать пальцем? Пытаясь обосновать, почему ни на фрейм, ни на практику, ни на вещь нельзя указать пальцем, я предполагал, что данный жест принципиально *может быть* осуществлен и что, характеризуя его названным и демонстрируемым способом, можно сделать интересными те феномены социального порядка, которые игнорируются в первых трех случаях как темы социологического исследования, но используются как ресурсы (понимания) социологического описания. Если попытаться сформулировать предлагаемую мной процедуру указания пальцем в отношении приведенной выше фотографии вагона метро, то она состоит в следующем: *указать пальцем можно на то, как сидят люди в вагоне метро*. Чтение данной формулировки требует учета ряда соображений.

Соображение первое. Данная формулировка является одновременно *отправной* и *конечной* точкой исследования конкретных феноменов социального порядка. Описание того, как происходит поездка в метро, должно быть *получено* в результате исследования поездки в метро, но лишь в той мере, в какой это описание подразумевается *естественной описуемостью* самой поездки. Когда я указываю пальцем, я не указываю на естественные способы организации деятельности как на *профессиональный* предмет социологического анализа, требующий специальных методов изучения, описываемый с помощью профессиональных социологических категорий и доступный только социологу; я указываю на естественные способы организации деятельности как на локальную, здесь и теперь осуществляемую работу производящей когорты, доступную любому компетентному члену общества.

Соображение второе. Описание поездки в метро, в котором состоит указание пальцем, целиком и полностью неотделимо от самой поездки в метро. «Неотделимо» означает: для его создания и понимания надо проехать в метро как минимум один раз. Процедура исследования поездки в метро *заключается* в реальной, повторяемой, успешной поездке в метро.

Соображение третье. Указание на то, как происходит поездка в метро, *заключается в том числе* в описании зафиксированного на фотографии способа рассадки пассажиров в вагоне метро. Описание этого способа должно состоять в описании его как обыденной, рутинной, само собой разумеющейся работы локальной производящей когорты. В отношении этой работы можно выдвинуть несколько равносильных и не взаимоисключающих гипотез, указывающих, чем является для пассажиров такая рассадка.

ГИПОТЕЗА 1: они садятся так, чтобы способом их рассадки было «заполнение сиденья по порядку». Края сидений являются естественными «точками отсчета», позволяющими устанавливать очередность заполнения сиденья. Садясь с краю, человек воспринимается не занимает всё сиденье и позволяет последующим входящим легко выбрать себе место. Эта очередность является воспринимаемым феноменом, объяснимо наблюдаемым любым пассажиром, входящим в вагон. Входя в вагон, в котором уже находятся другие люди, пассажир сразу устанавливает возможные места для «посадки», и их установление заключается в мониторинге всех доступных и занятых мест, обеспечивающем входящего необходимыми обстоятельствами и соображениями для «посадки». Рассаживаясь в пустом вагоне, пассажиры соблюдают очередность заполнения сидений таким образом, чтобы их расположение в данном вагоне и на данном сиденье было воспринимаемо очередным и учитывающим других пассажиров, которые будут входить и садиться на следующих остановках.

ГИПОТЕЗА 2: они садятся так, поскольку это обеспечивает наиболее удобный вход и выход из вагона. «Удобный» в данном случае означает: наиболее быстрый, потому что данные места расположены возле дверей и на них можно сесть сразу после входа в вагон, и наиболее быстрый, потому что, выходя, придется проходить меньшее расстояние до дверей и меньше «пробираться через» других пассажиров. Быстрота входа и выхода в данном случае является социальной, а не абсолютной. Важно не то, сколько времени займут вход и выход из вагона по часам. Скорость входа и выхода оценивается и реализуется в соответствии с тем, как и где расположены другие пассажиры и как и где расположен выходящий, учитывая, что выход и вход в вагон метро должны быть *воспринимаемо* быстрыми и становятся поводом для обвинений, если они недостаточно быстры. Метро — это «быстрый» вид транспорта в том смысле, что пассажиры (и другие участники поездки в метро, например, водитель электропоезда) учитывают и реализуют в своих действиях то, что поезда ходят с большой скоростью, с небольшими интервалами и строго в рамках расписания, поэтому быстрый вход и выход из вагона являются неотъемлемой и существенной чертой деятельности пассажиров и сотрудников метрополитена. Для них «быстрота» метро является локально производимым феноменом и наблюдаемой особенностью поведения.

ГИПОТЕЗА 3: они садятся так, чтобы, во-первых, не сидеть рядом с кем-то, и, во-вторых, чтобы другой мог сесть не рядом с ними. В случае пустого вагона и небольшого числа пассажиров (именно такова ситуация на фотоснимке), это выполняется достаточно просто. В случае пустого вагона и большого числа пассажиров и в случае заполненного вагона это не является строгим и обязательным условием поездки в метро. Пассажиры *салятся* рядом друг с другом даже в том случае, когда есть возможность сесть не рядом. Тем не менее место возле поручней позволяет уменьшить возможность сидеть рядом с кем-то, поскольку с одной стороны точно сесть рядом никто не сможет. Одним из возможных соображений, которыми руководствуются пассажиры, является наблюдаемый и в других ситуациях феномен «вместности»: находящиеся «рядом» — «вместе». «Вместе» здесь следует рассматривать как свидетельствуемый в деталях феномен, поэтому простое расположение «плечом к плечу» не является определяющим признаком «вместности». Оно *может* стать таковым в определенных обстоятельствах. Пассажиры в метро, сидящие рядом и не едущие вместе, своими действиями обеспечивают отсутствие «вместности» и зримым, наглядным, понятным образом производят «рядость» для любого компетентного члена общества так, чтобы нельзя было сказать, что они едут вместе.

Эти три описания *пока* являются предварительными. О них можно сказать, что они могут в равной степени адекватно описывать поездку в метро и быть применимыми к той фотографии, которая приведена выше. Эти гипотезы *не* выводятся из этой фотографии как срез поведенческих актов. Фотография использовалась мной в качестве индекса реальной ситуационной деятельности, частью которой является специфический способ рассадки. Чтобы обнаружить живую, осязаемую, воплощенную работу поездки в метро как условие оценки всех трех предложенных мной гипотез, необходимо отправиться в метро. То, что я

говорил о фотографии, не должно вести к бихевиористской ошибке: как будто есть некая поведенческая реальность, поддающаяся фиксации и требующая комментария, который бы прояснял то, что видно на фотографии. Я полагаю, что фотографируемые свойства наблюдаемых сцен действия являются *также* свидетельствуемыми свойствами работы по их осуществлению, и что благодаря этому фотография может рассматриваться как индекс.

Соображение четвертое. Формулировка «указать пальцем можно на то, как сидят люди в вагоне метро» должна рассматриваться как попытка спецификации пятой черты феноменов социального порядка: их ценности. Их ценность заключается в их педагогичности. Они ценны потому, что работа наблюдения, описания и осуществления этих феноменов как феноменов заключается в обучении их локальному наблюдению, описанию и осуществлению. Это *не* значит, что можно создать такое описание, *только лишь* прочитав которое любой сможет обучиться поездке в метро. Это *значит*, что можно создать такое описание, прочитав которое любой сможет взять его, пойти в метро и сопоставить то, что он там увидит, с данным описанием таким образом, что, во-первых, увиденное им будет соотносимо с тем, что он прочитал, и, во-вторых, описание будет подсказывать ему, на что смотреть, и оно *не* будет подсказывать ему, *что* он увидит. Следовательно, указание пальцем есть указание на то, куда пойти и на что посмотреть. Оно не учит тому, как описывать поездку в метро. Оно учит тому, как ездить в метро, при условии, что самого этого описания *недостаточно* для того, чтобы ездить в метро. В этом описании не содержится правил поездки, не указываются нормы поездки, не объясняется смысл поездки, не оценивается адекватность поездки. В этом отношении оно является пустым. В нем утверждается, что для того, чтобы описать поездку, нам достаточно спуститься в метро, и что поездка в метро является от начала и до конца наблюдаемой, зримой и легко доступной. В этом отношении оно является простым. В нем содержится описание способов организации и упорядочивания действий, не зависящих от конкретной производящей когорты. В этом отношении оно является бессмертным. И оно учит тому, что его педагогичность — это не педагогичность социологического описания, а педагогичность самой поездки в метро. В этом отношении оно является ценным.

И последнее. В процессе написания текста, чтобы прояснить для себя некоторые аспекты процедуры указания пальцем, мне приходилось реально совершать указание пальцем. Я направлял палец, например, на диван и смотрел, что из этого выйдет. Иногда это помогало, иногда нет. Я не рекомендую данную процедуру как способ прояснения того, что значит указывать пальцем на феномены социального порядка, но она вполне может служить подтверждением того, что социологическое обнаружение условий осмысленности осязаемых, материальных, конкретных действий требует не выявления их *смысла*, а нахождения *самих* этих действий.

Литература

1. Витгенштейн Л. Замечания по основаниям математики / Пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. II, кн. I. М.: Гнозис, 1994. С. 1–206.
2. Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008.
3. Гофман И. Анализ фреймов: эссе об организации повседневного опыта / Пер. с англ. под ред. Г. С. Батыгина и Л. А. Козловой. М.: Институт социологии РАН, 2003.
4. Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр. А. Гофмана. М.: ТЕПРА—Книжный клуб, 2008. С. 45–200.
5. Goffman E. Frame analysis: an essay on the organization of experience. Boston: Northeastern University Press, 1986.

Татьяна Тягунова*

Смотреть этнофеноменологически

Аннотация. В статье делается попытка, отталкиваясь от тех концептуализаций повседневной реальности, которые содержатся в работах Шюца, взглянуть на повседневность в эмпирической перспективе – в перспективе того, как повседневность *практикуется*. Следствием данного эмпирического взгляда оказывается переконцептуализация понятия повседневности – повседневность рассматривается не как атрибут жизненного мира повседневности как «конечной области смысла», а как формальная черта любой социальной практики, что, в свою очередь, требует изменения исследовательской установки.

Ключевые слова. Феноменология, повседневность, жизненный мир, рутинные действия, социальные практики, практическая рефлексивность, intersубъективность.

С «легкой руки» Альфреда Шюца, а если точнее — Эдмунда Гуссерля, повседневный жизненный мир суть мир в его непроблематичной данности. В своей последней работе «Структуры жизненного мира», опубликованной посмертно¹, Шюц дает следующее определение: «Под повседневным жизненным миром следует понимать ту область реальности, которую бодрствующий, нормальный взрослый индивид в установке здравого смысла обнаруживает как просто данную. „Просто данное“ обозначает все, что мы переживаем как не подлежащее сомнению, любое положение дел, которое до поры до времени предстает как непроблематичное» [18, S. 29]. Но что значит «непроблематичное»? Непроблематичное как не подлежащее сомнению, само собой разумеющееся стало расхожим (прежде всего в обиходе социологического языка) атрибутом повседневности. Само собой разумеющимся следствием такой характеристики оказывается, среди прочего, определение повседневного действия как действия принципиально нерелексивного. Несомненно, Шюц всецело склоняет к этому, когда пишет: «само собой разумеющееся (das Fraglosgegebene) всегда представляет собой такой уровень восприятия, который представляется не нуждающимся в дальнейшем анализе» [11, с. 391]. Я предлагаю задержаться на этом данно-как-не-нуждающимся-в-вопрошании — но не для того, чтобы еще раз подвергнуть (теоретической) рефлексии (нерелексивное) повседневное действие (Шюц прекрасно

* **Тягунова Татьяна Васильевна** – научный сотрудник Центра проблем развития образования Белорусского государственного университета.

© Тягунова Т., 2009.

© Центр фундаментальной социологии, 2009.

¹ Книга была написана учеником Шюца Томасом Лукманом на основе плана и черновиков, подготовленных Шюцем незадолго до смерти для проекта «Структур жизненного мира», задуманного как продолжение вышедшей в 1932 г. в «Springer-Verlag» книги «Смысловое строение социального мира» (единственной изданной Шюцем при жизни, если не брать в расчет его многочисленные статьи). В предисловии к новому изданию «Структур...» в 2003 г. Лукман пишет, что точно следовал составленному Шюцем плану, если не считать двух «существенных» отклонений. Первое связано с изменением внутренней структуры третьей главы, посвященной рассмотрению субъективного запаса знания, что повлекло за собой необходимость добавить новую главу (она значится под номером 4 как «Знание и общество»). Второе изменение касается заключительной (в первоначальном плане Шюца) главы, посвященной методологии социальных наук — Лукман исключил ее из окончательного варианта, поскольку, как он пишет, она в основе своей не выходила за рамки того, что было сформулировано в эссе «Обыденная и научная интерпретация человеческого действия» [18, S. 18–21].

проделал эту работу) или, возможно, эксплицировать «само собой разумеющееся» самого социологического понимания (что было бы не менее самонадеянно). Моя цель несколько иная: отталкиваясь от тех концептуализаций повседневной реальности, которые содержатся в работах Шюца, взглянуть на повседневность в эмпирической перспективе — в перспективе того, как повседневность *практикуется*. Я постараюсь показать, что эта задача потребует, в свою очередь, переконцептуализации самого понятия повседневности, с одной стороны, и изменения исследовательской установки, с другой.

Онтологическая подкладка повседневности

Для Шюца повседневный жизненный мир представлял собой верховную реальность: мир повседневности — родовое пространство всех возможных областей смысла. Повседневный мир — мир рутинной деятельности, или мир работы². Однако, замечает Шюц, «рутина — это такая категория, которую можно обнаружить на любом уровне деятельности, а не только в мире работы, хотя решающую роль она играет в верховной реальности — по меньшей мере потому, что мир работы является локусом всех возможных социальных взаимоотношений, а акты работы выступают предпосылками всех типов коммуникаций» [11, с. 349]. Остановимся пока на данном отрывке. В каком смысле рутинные действия обнаружимы в любой деятельности? Не следует ли из этого, что любая деятельность принципиально повседневна? Для Шюца, разумеется, нет. Хотя рутинные действия суть повседневные действия, однако повседневная реальность и рутина отнюдь не тождественные понятия. Более того, утверждает Шюц, ни одна из альтернативных областей смысла не совместима со значением повседневной жизни: действия (теоретизирования) ученого и действия непосредственного участника обыденных ситуаций взаимодействия (или действия ученого как непосредственного участника этих ситуаций) взаимно исключают друг друга. Шюц виртуозно пытается обойти кроющуюся в высказанном тезисе двусмысленность, во-первых, особым образом концептуализируя само «действие» (1), во-вторых, посредством скрупулезной проработки одного из ключевых в его теории понятий — понятия «релевантность» (2)³.

(1) Шюц строго разграничивает понятия «поведение», «действие», «работа», «исполнение» и просто «мышление». В частности, «поведение, которое замышляется заблаговременно, т. е. базируется на заранее составленном проекте... буде[т] называ[ть]ся *действием* (action), независимо от того, является ли оно внешним или скрытым» [9, с. 405]. Целенаправленное действие, характеризующееся намерением реализовать проект, является исполнением, которое также может быть либо внешним, либо скрытым; примером последнего является попытка мысленно решить научную проблему. Наконец, под работой следует понимать внешние исполнения (в отличие от (скрытых) исполнений просто мышления), требующие телесных движений [9, с. 406]. Таким образом, одно дело — размышлять, другое дело — например, строить гараж. Вывод банален, и на нем не стоило бы заострять внимание, если бы не два важных момента, с которыми связано исходное разграничение. Во-первых, Шюц рассматривает мышление в эгологической перспективе, как сугубо приватный акт, внутренний процесс, имеющий внешний план выражения. (Здесь не место останавливаться на том, как демистификация этой приватности, начатая прежде всего Г. Райлом и Л. Витгенштейном и продолженная концептуальными аналитиками, показала социальную – внешнюю – подкладку этой «внутренней» материи, т.е. на том, что как язык, *так и мышление* следует рассматривать скорее в качестве социально организуемых вещей, а не в категориях ментальных процессов). Во-вторых, что более существенно, мышление, так же, как и акты работы, является действием (но исполняемым, в отличие от последних, во внутреннем плане) и так же, как и акты работы, может носить рутинный, т. е. привычный,

² Рутинная деятельность, пишет Шюц, — это «множество работ, привычно выполняемых почти автоматически в соответствии с предписаниями, которые были выучены и успешно практиковались до сих пор» [11, с. 347].

³ Разумеется, ход рассуждений Шюца не совпадает с тем, как он представлен здесь, однако для настоящего обсуждения это различие не существенно.

непроблематичный характер. Однако действия, категоризируемые как научные (а собственно научные действия для Шюца — это именно действия мышления, а точнее, действия теоретического созерцания), не являются рутинными в том смысле, в каком таковыми выступают акты работы в мире повседневности. Не являясь действиями рутины, они тем не менее *также* могут осуществляться привычным, непроблематичным образом, более того, предполагают осуществление рутинных актов работы. В чем тут дело, объясняет второй шюцевский концепт, а именно, понятие систем релевантностей.

(2) Шюц указывает, что «рутинная деятельность на каждом уровне характеризуется особой трансформацией... структур... релевантностей» [11, с. 350]. Конститутивные для реальности мира повседневной жизни рутинные действия работы — т.е. такие действия во внешнем мире, которые основываются на проекте и характеризуются намерением осуществить спроектированное положение дел с помощью телесных движений — входят в любую деятельность, будь то деятельность ученого, совершающего свои научные изыскания, композитора, сочиняющего очередную сонату, или, само собой разумеется, посетителя бакалейной лавки или пассажира метро. Однако, если для посетителя бакалейной лавки его акты работы (например, действия покупки пачки чая или соли) образуют «и сцену, и объект» его деятельности, то для ученого его акты работы (например, проведение экспериментальных измерений или написание статьи) образуют не более как фон, материальную основу собственно научных действий, определяемых иной системой (мотивационных, тематических и интерпретативных) релевантностей, которая задается его теоретической установкой и, будучи принятой, полагается как непроблематизируемая данность. «Все эти деятельности, — пишет Шюц, — выполняемые в мире работы и принадлежащие к нему, представляют собой либо условия, либо следствия теоретизирования, но не принадлежат к теоретической установке как таковой, от которой они легко отделимы» [9, с. 440]. Здесь, однако, возникает следующая проблема методологического характера, на которую справедливо указывает Ю. Хабермас. Если смена системы релевантностей вследствие занятия теоретической установки должна гарантировать «совместимость конструкторов социального ученого с конструкторами обыденного опыта социальной реальности» [10, с. 44], тогда, говорит Хабермас, Шюц должен был бы объяснить методологическую роль связанных с научной системой релевантностей особых ценностных ориентаций. «Он должен был бы показать, почему именно они помогают решить проблему, состоящую в том, чтобы связать построение теории с коммуникативно проясненным дотеоретическим знанием, которое социальный ученый обнаруживает в своей предметной области, не привязывая в то же время значимость своих высказываний к (обнаруженному или привнесенному им) контексту жизненного мира» [8, с. 18]. С точки зрения Хабермаса, смена естественной установки на теоретическую, в результате которой действия теоретизирования образуют своего рода фигуру на фоне действий работы (предполагающих включенное участие в исследуемую ситуацию), не может гарантировать объективность понимания исследуемых процессов, поскольку эта объективность достижима лишь на основе интерсубъективности, а значит — исходя из позиции (пусть даже виртуального) *участника*, а не отстраненного наблюдателя.

Таким образом, рутинная деятельность образует *фон* для других деятельностей. Она сущностно *маргинальна*. Рутинные действия производятся всегда «во имя» других действий, служат для выполнения деятельности, задаваемой, в терминах Шюца, системой релевантностей более высокого порядка. В этом смысле они более чем непроблематичны: не проблематизируясь не только в отношении целей (мотивационная релевантность) и средств (интерпретативная релевантность), но и как таковые, т.е. тематически. Точнее, они тематически релевантны, но парадоксальным образом, представляя собой, так сказать, «прирученную тему» (*topic-in-hand*)⁴. «Прирученная тема» — это нетематизируемая проблема, т.е. то, что представляет проблему, но не как таковую, а лишь применительно к

⁴ Рутинное знание, говорит Шюц, — это своего рода «знание-в-руках» [11, с. 352].

данному состоянию дел [11, с. 348]. Так, организация и проведение исследователем интервью в рамках решаемой им научной проблемы будет являться такого рода прирученной темой, подчиненной иной тематической релевантности, служащей схемой отбора и интерпретации данных; она образует нетематизируемую проблему (я знаю, как решить ее в типичной ситуации типичными средствами) — до тех пор пока, скажем, не ломается диктофон; тогда из нетематизируемого фона она превращается в тематизируемую проблему (замены или ремонта диктофона). Рутинная для Шюца образует *онтологическую* подкладку любой деятельности вообще, будь то решение текущих повседневных дел, проведение научного исследования или погружение в мир искусства⁵. Кроме того, это еще и категория, имеющая градуальную характеристику: реальность повседневного — это реальность *типичного*, рутинная же реальность повседневного — это реальность в высшей степени типичного, фактически «стандартизированного и автоматизированного».

Типичное vs. упорядоченное

Предложенное Шюцем понимание рутины примечательно прежде всего в двух отношениях. Во-первых, само собой разумеющийся, непроблематичный характер не является атрибутом исключительно мира повседневности: он присущ любой теоретической и практической деятельности (более того, эта черта применима не только к действиям в рамках соответствующей системы релевантностей, но и к самим системам релевантностей [11, с. 293], что, однако, вновь возвращает нас к поставленному Хабермасом вопросу относительно привилегированного статуса научной системы релевантностей и связанных с ней ценностных ориентаций по сравнению с системами релевантностей практических деятелей). Во-вторых, мир повседневности — мир не только непроблематичного, но и непрерывно проблематизируемого (прирученная тема то и дело «выпадает из рук»). Именно последнее обстоятельство я намерена далее взять за отправную точку и показать, что повседневность принципиально обнаружима в любой деятельности, но не в качестве онтологической подкладки рутинных актов и набора типизированных схем действия, а как *сущностная черта всякой социально организованной практики*. Вопрос, стало быть, звучит так: *как именно* происходит непроблематичное решение текущих прирученных проблем в качестве проблем-применительно-к-данному-состоянию-дел? Проанализируем два фрагмента стенограммы, представляющей собой расшифровку записи приема академического экзамена⁶.

Фрагмент 1

01	Ст.	свойства ощущений. значит=свойства ощущений а: делятся
02		на психофизиологические и психофизические
03	Пр.	давайте начнем сначала (.) что такое ощущение
04		определение дайте
05	Ст.	а ощущение эта: э:: (4.0) ну это то что человек ош/э
06		<<ощущает>смеясь>
07	Пр.	так. тая вас зовут да?
08	Ст.	да
09	Пр.	тая вы сосредоточьтесь подумайте
10		() ((уходит))
11		(15.0) ((возвращается назад))

⁵ Шюц, правда, далек от того, чтобы постулировать онтологичность *границ* между различными областями жизненного мира; это лишь различные *уровни* реальности, причем реальные в той мере, в какой им придается акцент реальности.

⁶ Запись была сделана во время зимней экзаменационной сессии 2008 г. в одном из университетов г. Минска; оригинальный аудиофайл хранится у автора настоящей статьи и может быть предоставлен по запросу любому желающему.

12	Ст.	ну ощущение это=а: (2.0) какой то наверно какая то
13		чус/чувствительность организма на воздействия=
14	Пр.	=ощущение это [психический процесс
15	Ст.	[психический процесс. а::: который
16		происходит при воздействии каких то раздражителей↓
17		а:: (2.0) и↑
18	Пр.	на что воздействие
19	Ст.	на::: человека.
20		(2.0)
21	Пр.	а конкретнее
22	Ст.	а: н на организм челов/ну=на: тело человека. (.) кожу.
23	Пр.	[на органы чувств
24	Ст.	[на органы чувств человека

Как можно видеть, студентка сталкивается с определенной проблемой, а именно: дать определение «ощущению», и соответственно с необходимостью решения данной проблемы. Рассмотрим, как это происходит.

Затруднение, явно обнаруживаемое действиями студентки, связано с просьбой преподавателя привести определение «ощущению». Своей просьбой преподаватель показывает, какой в данном случае должна быть структура ответа (с. 03–04) и, говоря «давайте начнем сначала», указывает на эту структурную неполноту в ответе студентки. «Сначала» здесь никоим образом не отсылает к астрономическому течению времени, оно является организационным моментом текущего взаимодействия, маркируя последнее как «ответ на экзамене», предполагающий определенную последовательность: «сначала» дается определение.

Студентка пытается дать определение, оказывающееся, однако, неудовлетворительным, и своим смехом демонстрирует, что и сама признает его неудовлетворительность. В своей тавтологичности ответ может быть принят как вполне достаточный, например, в ситуации неинституционального взаимодействия, в разговоре между непрофессионалами, однако он не верен в ситуации ответа студента на экзамене, формулирующего «определение психического процесса». Последнее предполагает, что ответ должен формулироваться в терминах профессионального языка, более того, их профессиональная отнесенность создается, как можно видеть из строчек 12–24, благодаря специфическому дискурсивному порядку. Иными словами, формулировка определения должна продемонстрировать не просто знание профессиональной терминологии (т. е. использование вместо слов «организм» или «кожа» слов «органы чувств»), а специфическую речевую практику, соответствующую тому, что принято считать «формулировкой определения психического процесса». В связи с этим замена «то, что человек ощущает» на «чувствительность организма на воздействия» рассматривается преподавателем как неадекватная (что значит: не воспроизводящая формальное начало определения, которое должно начинаться со слов «это психический процесс...»), что он и показывает своей корректировкой ответа студентки в строке 14.

Строки 09–14 позволяют также понять, что преподаватель вкладывает в слова: студент должен «сосредоточиться и подумать». *Подумать* – значит *продемонстрировать* тот специфический порядок высказываний, который соответствует практике формулирования «определения». Когда преподаватель корректирует ответ студентки, определяющей ощущение как «чувствительность организма на воздействия», говорит ли это о том, что студентка «не подумала»? Скорее, это свидетельствует о том, что преподаватель все еще не обнаруживает в ее ответе адекватной речевой структуры, которую, как ожидается, она должна знать и актуализировать применительно к текущей ситуации таким образом, чтобы ее «знание» было свидетельствуемо из самого способа ее говорения, т.е. она должна использовать профессиональные термины и воспроизводить определенный речевой паттерн. Дж. Коултер, рассматривая процесс «понимания», пишет в этой связи: «„Понимание“...

может означать знание о том, как действовать, знание о том, как использовать слово, инструмент, карту или любой другой контекстуально релевантный предмет, знание о том, как вести себя, знание о том, что произойдет дальше, и множество других вещей» [5, с. 86]. Как и «понимать», «думать» – значит публично демонстрировать определенную (речевую) практику, согласующуюся с окказиональными обстоятельствами ее контекстуального осуществления. Действия студентки в рассматриваемом фрагменте явно обнаруживают несоответствие тому, что от нее ожидается в данной ситуации.

И для студентки, и для преподавателя использование специфических терминов профессионального языка означает формулирование ответа на экзаменационный вопрос, т. е. их использование осуществляется внутри и подчиняется определенной образовательной задаче. В этом отношении употребление профессиональных слов и выражений студенткой встроено в демонстрацию ею своей *подготовленности*. Эту подготовленность студентка и предьявляет в первых двух строчках: она показывает, что «знает», как ответить на тот вопрос, который стоит в ее экзаменационном билете, используя термины «психофизиологические» и «психические», которые должны служить зримым свидетельством ее знания. Знание ею значения данных терминов – есть знание способа их употребления для-ответа-студента-на-экзамене. В этом смысле посредством того определения, которое она дает слову «ощущение» («ощущение... это то, что человек ощущает», с. 05–06), студентка обнаруживает, что к *данному* вопросу она не была готова. В то же время она демонстрирует свое понимание значения этого слова как слова естественного языка, употребляемого равным образом (в отличие от слов «психофизиологический» или «психический процесс») и профессиональными психологами, и рядовыми членами общества. Однако демонстрация оказывается проблематичной — но не как таковая, а применительно к данной ситуации, требующей «другого» понимания, или другой языковой игры, как сказал бы Витгенштейн — «понимание» столь же разнообразно, как и практики языкового употребления.

Что показывает нам этот пример? Прежде всего то, как внутри и посредством осуществляемых действий, т. е. внутри соответствующего контекста, происходит упорядочивание и наделение осмысленностью того, что осуществляется как «ответ на экзамене», придавая тем самым ситуации воспроизводимый, узнаваемый, короче, рутинный характер «ответа на экзамене». И хотя это осуществление непроблематично в целом, оно принципиально проблематизируемо в своих конкретных реализациях. Ни для студентки, ни для преподавателя не стоит вопрос о том, что происходит. Однако несомненность в происходящем как ответе-на-экзамене обеспечивается не имеющимся у каждого из участников типизированным представлением о том, что значит экзамен, а упорядоченной последовательностью взаимно ориентированных действий. Ответ на экзамене — это ситуация взаимных согласований, носящих окказиональный характер. Разумеется, эта ситуация определена: отвечает студент, принимает ответ и оценивает его преподаватель. Однако способ осуществления этих действий достаточно динамичен и вариативен: он не воплощает некой заданной схемы-ответа-на-экзамене, а реализуется в каждый момент времени исходя и с учетом конкретных обстоятельств. Ответ на экзамене, если воспользоваться выражением Д. Циммермана, суть «временное достижение участников обстановки»⁷. Другими словами, ответ на экзамене *практикуется*, и эта практика

⁷ Ср.: «Характерные черты обстановки, воспринимаемые ее участниками, включают среди прочего ее историческую континуальность, структуру правил и взаимосвязь совершаемых в ней действий с этими правилами, а также приписываемые (или достигаемые) статусы их участников. Рассмотренные как временное достижение участников обстановки, эти черты будут называться окказиональным корпусом черт обстановки. Используя термин «окказиональный корпус», мы хотим подчеркнуть то обстоятельство, что черты социально организованной деятельности являются партикулярными, контингентными осуществлениями производства и опознания работы участников деятельности. Мы подчеркиваем окказиональный характер данного корпуса по сравнению с корпусом знания членов, их навыков и убеждений, всегда предшествующих и не зависящих от любых актуальных обстоятельств, в которых это знание, навыки и убеждения проявляются или опознаются. Последнее обычно называют „культурой“» [20, р. 94, цит. по: 8, с. 18].

оказиональна в своем осуществлении — не в том смысле, что имеет место наполнение некой абстрактной (типичной) схемы или формы особенностями конкретной ситуации и структурирование последней согласно данной форме, скорее, сама эта форма оказывается результирующим эффектом локального осуществления упорядоченной, скоординированной и взаимно опознаваемой деятельности. В рассмотренном выше случае ответ на экзамене принимает форму последовательного согласования двух речевых практик: не просто двух языков, условно говоря, обыденного («ощущение — это то, что человек ощущает») и профессионального («ощущение — это психический процесс...»), а двух различных практик употребления слов, пересекающихся в ситуации академического экзамена. Равным образом и студент оказывается неподготовившимся студентом (не-знающим-определения-ощущения) не до ответа, а в ходе и как результат локальной конфигурации совместных действий данного преподавателя, принимающего экзамен, и данного студента, сдающего этот экзамен.

Типизированное знание того, что значит сдавать экзамен — например, взять экзаменационный билет, сесть за стол, записать на листке бумаги то, что будет составлять ответ на вопрос билета, озвучить написанное преподавателю, ответить на вопросы преподавателя — вполне может дать некое представление о происходящем и в то же время ничего не сказать о том, что происходит. И дело не столько в том, что все зависит от конкретных деталей, сколько в том, что «что» происходящего заключается в его «как». Одно и то же действие, например, ответ на вопрос, может быть осуществлено как студентом, так и преподавателем и, соответственно, упорядочиваться совершенно различным образом. В приводимом ниже отрывке (Фрагмент 2) «отвечает» не только студент, но и преподаватель. Но это разные ответы.

Фрагмент 2

- 01 Пр. так подождите гипократ положил в основание своей
02 типологии (.) э:: идею о соотношении четырёх основных
03 жидкостей в теле организма а что в основание своей (.)
04 своего учения положил павлов (.) како/идею о чём
05 (6.0)
06 Ст.: о свойствах нервной системы
07 Пр.: о свойствах нервной системы. что это за свойства
08 (2.0)
09 Ст.: э=м::
10 (17.0)
11 Ст.: я уже не помню
12 Пр.: ну вы же только что первые четыре слова назвали
13 (2.0)
14 Ст.: ну безудержность да? (1.0) да?
15 Пр.: нет вот вы когда говорили был такой то тип (2.0) по павлову
16 (1.0)
17 Ст.: да?=
18 Пр.: =да
19 Ст.: <<смеётся>>
20 (1.0)
21 Ст.: так. сильный тип
22 Пр.: так что он положил какое первое свойство нервной системы
23 (2.0)
24 Ст.: ну:: (1.0) ну не силу характера а
25 (1.0)
26 Пр.: сила (1.0) [нервной системы
27 Ст.: [нервной системы]

28	Пр.:	[как свойство нервной системы;
29			какие ещё свойства нервной [системы
30	Ст.:		[слабость
31	Пр.:	[ещё какие
32		(1.0)	
33	Ст.:	э::: (1.0) а=спокойствие да?= Пр.:	=нет
34		(11.0)	
35	Ст.:		может быть эмоциональность
36		(1.0)	
37	Пр.:		речь идёт о свОйствах нервной системы а не о: (.)
38			характеристиках человека (2.0) и эти свойства относятся
39			к двум основным процессам которые характерны для нервной
40			системы это процессы (2.0) возбуждения и↑ (4.0)
41	Ст.:		возбуждения и (2.0) ну не скажешь же успокоение↓
42	Пр.:		[торможение
43	Ст.:	[торможение

Преподаватель просит студента назвать свойства нервной системы (с. 07), что вызывает у последнего явные затруднения (с. 08–10). Свою неспособность ответить студент оправдывает тем, что «он уже не помнит» (с. 11). Ситуация конституируется как ситуация одновременно и ответа, и не ответа: студент не молчит и не говорит, что он не знает, а отвечает таким образом, который позволяет ему позиционировать себя как потенциально знающего, но не помнящего, причем слово «уже» должно подчеркнуть, что он готовился. Тем самым студент расширяет рамки текущей ситуации как ситуации ответа на экзамене, связывая ее с предшествовавшей ей ситуацией подготовки. Это не значит, что в других случаях ответ на экзамене строго ограничен тем, что происходит здесь и сейчас. Напротив, актуальная ситуация экзамена всегда включает в себя отсылку к тому, что ей предшествует как «подготовка к экзамену» и конституируется исходя из не требующего оглашения и взаимно предполагаемого допущения, что *перед* тем, как прийти на экзамен, студент готовится к нему, так что сам экзамен становится зримым свидетельством подготовки. Однако в данном случае обращение к ситуации, предшествовавшей подготовке, используется в качестве ресурса оправдания невозможности продемонстрировать знание, которое ожидается от студента. Слову «уже» в ответе студента противопоставляется «только что» в следующем за ним высказывании преподавателя (с. 12). Тем самым преподаватель возвращает релевантность актуально происходящего, акцентируя то, что было сказано студентом здесь и сейчас: «только что». Стратегии студента «демонстрировать знание, значит помнить и актуализировать выученное» он противопоставляет, как показывает дальнейший обмен, стратегию «демонстрировать знание, значит рассуждать» (с. 22, 38–41): возражая на слова студента «я уже не помню», преподаватель своей репликой «ну вы же только что первые четыре слова назвали» указывает, что студент все же знает, однако не в том смысле, что он помнит, сколько в том смысле, что он должен сделать вывод из «только что» сказанного (в строке 22 это ожидание демонстрируется наиболее явным образом: «так что он положил...»). Это обращение к актуально сказанному лишает студента возможности апеллировать к памяти как ресурсу знания (с. 14–20). Студент начинает использовать стратегию «угадывания» (с. 14). Однако неудача ее применения, обнаруживаемая последующей репликой преподавателя (с. 15), заставляет студента скорректировать свои дальнейшие действия и, как видно из строк 24 и 42, он задействует в дальнейшем еще одну стратегию, которую можно охарактеризовать как стратегию «упреждения неверного ответа» («ну не силу характера», с. 24; «ну не скажешь же успокоение», с. 42), позволяющую ему, с одной стороны, представить ответ как результат своих актуальных размышлений, с другой стороны, смягчить возможный негативный эффект в случае, если ответ окажется неверным.

В отличие от преподавателя, студент демонстрирует гораздо более широкий репертуар поведения. Его действия направлены на то, чтобы заверить преподавателя в том, что он не только следует предложенным правилам игры (демонстрирует знание), но и делает это таким образом, как от него ожидается (знать, значит рассуждать), гибко меняя стратегию поведения в случае обнаружения ее неэффективности в актуальной ситуации (знать, значит помнить). При этом студент не просто подстраивается под ожидания преподавателя, а, ориентируясь на ту линию поведения, которой придерживается преподаватель, структурирует свои действия таким образом, чтобы побудить, в свою очередь, преподавателя к желаемым для себя действиям — в конечном счете, преподаватель сам дает нужные ответы.

Управляя ответом на экзамене, студенты тем самым создают и управляют своим членством в категории «студент». Другими словами, студенты, как замечают английские исследователи Б. Бенвелл и Э. Стокое, «не только „образовываются“, но и „практикуют себя как студентов“» [13, р. 139]. То же верно и в отношении преподавателей. Из приведенного выше фрагмента видно, как в ходе экзаменационного ответа попытке студента сконструировать себя как того, кто «помнит и воспроизводит», противопоставляется систематически осуществляемое преподавателем конструирование студента как того, кто «рассуждает». И, как можно наблюдать, для студента «быть студентом» отнюдь не означает «рассуждать в терминах профессионального языка».

Что, однако, позволяет опознавать некую деятельность в качестве, например, ответа-на-экзамене (не только с точки зрения исследователя, но и с точки зрения самих участников деятельности)? Осуществление некой деятельности как *данной* деятельности означает именно упорядоченное и ориентированное с учетом имеющихся и возникающих обстоятельств осуществление. И в этом смысле — непроблематичное и повседневное осуществление. *Повседневное-как-упорядоченное* необходимо понимать в трех смыслах: как *согласованное*, как *следующее в обычном порядке* и как *осуществляемое надлежащим образом*⁸. Другими словами, повседневное осуществление деятельности означает также ее *компетентное* осуществление. Однако компетентность — практическая вещь, а не свод правил и инструкций. Нет «кулинарной книги» практики чтения лекции, сдачи экзамена и т. д. Компетентное осуществление чтения лекции, сдачи экзамена, как и любой другой деятельности — практическое достижение.

Повседневность практик и рефлексивность действия

«Повседневность», понятая как согласованное, ординарное, компетентное осуществление любой социально организованной деятельности рассеивает жизненный мир повседневности, трансформируя его из автономной верховной области или «конечной области смысла» во множественность различных пересекающихся и взаимопроникающих практик. Эта трансформация — след определенной перефокусировки в исследовании социальной реальности, произведенной в 70-х годах XX в. рядом исследователей, которые условно могут быть объединены как представители теории практик [2]. Сегодня, замечает В. Вахштайн, мы являемся свидетелями возрождения интереса к исследованию повседневности, характеризуемому некоторым изменением в определении последней: «Если в прежних — феноменологических и неомарксистских — теоретических проектах речь шла о страте „жизненного мира“ (Lebenswelt), представляющей собой „верховную реальность“ человеческого существования, то теперь повседневность возвращается в образе вместилища рутинных практик, своеобразной арены нерелексивных действий» [1, с. 66]⁹. Два момента, однако, требуют уточнения.

Я полагаю, вопрос должен быть сформулирован несколько иначе. Речь идет о том, чтобы

⁸ Немецкое «ordentlich», к слову, предусматривает употребление именно в этих трех значениях: одновременно и как *упорядоченный* и как *ординарный, постоянный, штатный, очередной* и как *в надлежащем порядке, аккуратно, прилично, пристойно, как полагается*.

⁹ Следует, однако, отметить, что данное высказывание Вахштайн делает в критическом модусе.

рассматривать не просто множественность повседневных практик, но множество различных социальных практик в их повседневном осуществлении. *Повседневность пронизывает все социальные практики*. Но не в том смысле, что составляет онтологическую подоснову любой деятельности и предстает в виде типизированных образцов действия, как полагал Шюц, а постольку, поскольку заключается в организуемых, согласованных, упорядоченных, воспроизводимых способах осуществления любой деятельности. Короче, следовало бы рассматривать не повседневные и не-повседневные практики, а различные практики в их повседневном осуществлении.

Второй момент касается отождествления повседневного и неререфлексивного. Несомненно, оба аспекта тесно связаны между собой: разделение на повседневные и неповседневные практики основывается на разграничении рефлексивного и неререфлексивного или дорефлексивного действий, восходящим, в свою очередь, как указывает Вахштайн вслед за В. Волковым, к юмовскому разведению практического действия и рефлексивного. В этом смысле Шюц лишь следует традиции, определяя деятельность научного теоретизирования как область собственно рефлексивного действия. Это не значит, разумеется, что, решая свои повседневные дела, практический деятель не осмысляет (не рефлексивует) свои действия, однако занятие рефлексивной установки предполагает, согласно Шюцу, остановку действия: схватить действие в рефлексии, говорит он, значит «остановиться и задуматься» [11, с. 348]. Рефлексия предполагает отстранение от участия. Конечно, и ученый, осуществляя свою научную деятельность, не только размышляет с позиции отстраненного наблюдателя, но и участвует в социальном взаимодействии, вступая в коммуникацию с другими исследователями, проводя измерения и т. д., короче, поддерживая воспроизводство соответствующей научной традиции. Однако одно дело — «наука как социальное явление», и совсем другое — «специфически научная позиция ученого по отношению к своему объекту», замечает Шюц [10, с. 37]. Противопоставление теории и практики создает, таким образом, предпосылки для изымания рефлексивности не только из повседневных практик, но и вообще из поля практики как таковой.

Другой коннотативный ряд задает противопоставление повседневного и неосознаваемого: повседневные действия неререфлексивны, поскольку основываются на само собой разумеющемся, неосознаваемом способе осуществления. Разумеется, речь не идет о том, что они бессознательны; они, скорее, вне, или до, осознания. Они не тематизируются, сказал бы Шюц. Однако же мы наблюдаем прямо противоположное. Практические действия непрерывно тематизируются, поскольку требуют постоянного согласования и упорядочивания. Рутинность — не основание и не условие повседневных практик, а следствие их упорядоченного осуществления. Рутинность осмысленно производится. Поэтому практические действия не являются до-рефлексивными, они рефлексивны в том смысле, что, как указывает П. Ауэр, «сами образуют контекст, который они делают интерпретируемым-для-всех-практических-целей-данного-момента» [12, S. 133]. Понятно, что так понятая рефлексивность не совпадает с тем, что подразумевает теоретическая рефлексия. Последняя — если взять за основу рефлексивный анализ в его (гуссерлевском) феноменологическом варианте — предполагает направленное интенциональное отношение, посредством которого происходит схватывание в акте сознания того, на что данный акт направляется, будь то другой акт или определенный объект, не являющийся состоянием сознания¹⁰. Практическая же рефлексивность — а я думаю, вполне оправдано использовать именно такой термин — есть черта *самих* практических демонстраций, описаний и объяснений, непосредственно связанная с неустранимой индексичностью социальных действий¹¹. В. Патцельт характеризует индексичность и рефлексивность в качестве «парных

¹⁰ Строго говоря, в феноменологическом смысле объектом рефлексивного отношения всегда выступает именно другой акт сознания (см.: [4, с. 122–134]), однако в контексте настоящего обсуждения этими тонкостями можно пренебречь.

¹¹ Индексичность — термин, используемый лингвистами для обозначения свойства выражений естественного языка, благодаря которому достигается понимание участниками взаимодействия совершаемых ими

концептов»: «В то время как концепт индексичности схватывает в известной мере *статический* аспект, имеющуюся в соответствующий момент времени семантическую множественность знака, концепт рефлексивности указывает на *динамический* аспект: на процессы поддержания или изменения отношений знак-контекст» [17, S. 69]. При этом, несмотря на индексично-рефлексивную укорененность объяснений в соответствующих контекстах, делающих невозможной твердую фиксированность значений, социальные ситуации переживаются, как правило, действующими субъектами как семантически прозрачные. «Прозрачность» достигается благодаря рутинно воспроизводимым процедурам практических объяснений, используемым членами социальных взаимодействий и выступающих в этом отношении также и в качестве методов деиндексализации¹².

Этнофеноменологический взгляд

Сказанное выше имеет одно важное методологическое следствие. Дело в том, что коль скоро мы начинаем рассматривать социальную деятельность в перспективе множества практик в их повседневной осуществимости и окказиональной специфичности, позиция исследователя наталкивается на определенную проблему. Она более не может быть привилегированной позицией «незаинтересованного наблюдателя». Взгляд исследователя — это взгляд не извне, а изнутри. Исследователь, и здесь следует согласиться с критикой Хабермаса, должен «смотреть» с позиции участвующего (пусть даже виртуально), что, однако, не означает «так же, как» непосредственные участники (исследователь сохраняет свой особый интерес, диктуемый исследовательскими целями). Но что обеспечивает объективность такого взгляда? Ответ Хабермаса таков: общность структур взаимопонимания, основанная на универсальных притязаниях на значимость и присущей языку внутренней рациональности. Это, конечно, предполагает определенный взгляд на язык.

Исходя из наличия «внутренней взаимосвязи между структурами жизненного мира и структурами языковой картины мира» [15, S. 190], Хабермас наделяет язык трансцендентным по отношению к конкретной социальной ситуации статусом. «Ситуация представляет собой тематически выделенный, артикулированный посредством целей и планов действия фрагмент *принадлежащей жизненному миру системы соотношений*» [15, S. 187]. Это феноменологическое понятие системы (аппрезентативных) соотношений, связывающих между собой элементы ситуации, с одной стороны, и ситуацию и жизненный мир, с другой, должно быть понято, однако, как система (языковых) значений, основывающихся на «*грамматически регулируемых* отношениях между элементами *организованного в языке запаса знания*» [15, S. 187]. Ситуация для Хабермаса представляет собой внешнюю для разворачиваемого на ней (коммуникативного) события сцену,

коммуникативных действий в той или иной конкретной ситуации взаимодействия, с учетом текущих обстоятельств осуществления которого только и становится возможным постижение смысла данных действий. (Индексичными являются выражения «здесь», «тогда», «этот» и т. п.) Этнометодология придала данному термину более широкий характер, распространив его на все социальные действия в целом (см.: [3, с. 94–136]). Каждый элемент осуществления действия или взаимодействия образует его конститутивную составляющую и может быть понят лишь в соотношении с соответствующим контекстом. И наоборот, каждый элемент, в свою очередь, принадлежит к контексту того, что было до этого и что последует далее. Иными словами, любое действие связано с последовательностью предшествующих действий и образует контекст для последующих действий. Вследствие своей контекстуальной обусловленности каждое действие содержит в себе, таким образом, «горизонт ссылок» [14, S. 249], проясняемый благодаря процедурам практических объяснений (применяемых как рядовыми членами общества, так и учеными).

¹² Собственно, на тот факт, что смысл всегда является «индексированным» относительно соответствующих *здесь, теперь и таким образом*, указывал и Шюц, как и на то обстоятельство, что для ориентации действия решающим является то, что ситуации могут рассматриваться в своей *трансситуативной* взаимосвязи. Для Шюца, однако, деиндексализация ситуаций, действий и событий достигается в процессе типизации, в ходе которой действующие субъекты устраняют соответствующие индексы посредством идеализации «я-могу-сделать-это-снова» и переводят тем самым партикулярность конкретной семантической множественности в состояние более или менее выраженной анонимности (см., напр.: [10]).

ограниченную пространственно-временными и социальными аспектами жизненного мира, концентрически упорядоченными, обладающими все возрастающей анонимностью и диффузностью по мере своего социального удаления и обретающими тематическую релевантность в зависимости от потребностей во взаимопонимании и возможностей действия непосредственных участников коммуникации¹³. Язык как посредник в достижении взаимопонимания остается трансцендентен этим конкретным аспектам ситуации; он выполняет функцию установления отношений участников взаимодействия к фактам, нормам и переживаниям. Хабермасовское понимание коммуникации основывается, таким образом, на таком понятии языка, значения которого в конечном итоге оказываются независимыми от контекста их употребления. Язык представляет собой самостоятельную систему, обладающую собственной внутренней логикой, *не сводимой к социальным действиям*: «...коммуникативное действие обозначает такой тип взаимодействия, которое координируется посредством речевых действий, не совпадая с последними» [7, с. 24]. Это своего рода нормативная знаковая система, объективное существование которой обеспечивает ее отличие от субъективных интенций¹⁴. Коммуникативные значения укоренены в отделенной от потока социальных ситуаций языковой системе, исключительно исходя из которой и возможно формирование универсальных притязаний на значимость.

Однако то обстоятельство, что контекст не просто задан, а, со своей стороны, ситуативно конституируется и индексально связан с тематизируемыми элементами ситуации, делает невыполнимыми постулируемые Хабермасом притязания на значимость как определяемые в присущей им рациональности иллокутивной силой используемого в речевых актах общего языка. Как замечает Рольф Цимерман, «Вместо того, чтобы связать семантические правила с условиями социального характера, данные условия выводятся из иллокутивного смысла речевых действий» [21, S. 440]. Свойственная коммуникации рациональность и смысл высказываний в реальных социальных ситуациях в существенной мере связаны с локальными условиями производства речевых высказываний. Хотя Хабермас признает, что коммуникация протекает на фоне разделяемых ожиданий (относимых им к совместно разделяемому «социокультурному жизненному миру»), тем не менее, он, как кажется, игнорирует тот факт, что значения зависят не только от того, *что* говорится, но и от того, *кто, как и где* говорит.

Таким образом, признавая правомерность поставленной Хабермасом проблемы, трудно согласиться с предлагаемым им решением. Каким образом тогда исследователь должен действовать, чтобы гарантировать своим суждениям объективность, исходя при этом из перспективы непосредственных участников? Его взгляд должен стать своего рода *этнофеноменологическим*. Смотреть этнофеноменологически значит, с одной стороны, ориентироваться на рутинные способы действия и (вос)производства социальных феноменов в их «вот-этой» специфичности; с другой стороны, обнаруживать их всякий раз в, так сказать, «неприрученном» качестве — для исследователя они представляют собой проблемы не только применительно к данному состоянию дел, но и как таковые. Объективность заложена в интерсубъективности, однако связана не с универсальностью притязаний на значимость, обеспечивающих общность процессов взаимопонимания, а с инвариантностью рутинных процедур взаимодействия, равно доступных (в силу присущей им рефлексивности) и исследователю, и непосредственно действующим. Однако, в отличие от непосредственных

¹³ Хабермас (вполне в духе Шюца) приводит следующий пример: «... для маленькой сцены строительных работ расположенная на определенной улице строительная площадка, определенный момент времени, скажем, понедельник незадолго до перерыва на завтрак, и исходная группа коллег, которые в данное время находятся на строительной площадке, образуют начальную точку системы пространственно-временного и социального соотношения с миром, находящимся в „актуальной досягаемости“. Городское окружение участка застройки, район, страна, континент и т. д. образуют в пространственном отношении „потенциально достигаемый“ мир; во временном отношении ему соответствуют распорядок дня, биография, эпоха и т. д., и в социальном отношении — группы членства от семьи до общины, нации и т. д. вплоть до „мирового сообщества“» [15, S. 190].

¹⁴ Это дает основания Хуберту Кноблауху определить хабермасовское коммуникативное действие как «интенцию действия плюс язык» [16, S. 35].

участников, исследователь мотивирован в отношении фактов именно с точки зрения обнаружения и экспликации¹⁵ рутинных способов их фактуализации, а не прагматически. Исследователь действует не «с вычетом своих свойств действующего субъекта» [8, с. 12], а с их учетом, однако в специфическом смысле. Он учитывает их в связи и для своих исследовательских целей, т. е. не отменяя их релевантность, а соотнося с релевантностью своего исследовательского интереса. Он практикует в этом смысле двойное *attention à la vie*, если воспользоваться термином А. Бергсона.

Литература

1. Вахштайн В.С. «Практика» vs. «фрейм»: альтернативные проекты исследования повседневного мира // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 1. С. 65–95.
2. Волков В. В., Хархордин О. В. Теория практик. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008.
3. Гарфинкель Г., Сакс Х. О формальных структурах практических действий / Пер. с англ. В. Г. Николаева // Социальные и гуманитарные науки. Реферативный журнал. Серия 11. Социология. 2003. № 2. С. 94–136.
4. Гурвич А. Неэгологическая концепция сознания / Пер. с англ. П. Куслия // Логос. 2003. № 2. С. 122–134.
5. Коултер Дж. Прозрачность сознания: доступность субъективных феноменов / Пер. с англ. А. М. Корбута // Социальные практики. Электронный журнал. 2008. Т. I. № 1. С. 81–125. [<http://www.edc.bsu.by/>].
6. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия / Пер. с франц. под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. СПб.: «Ювента», «Наука», 1999.
7. Хабермас Ю. Отношения к миру и рациональные аспекты действия в четырех социологических понятиях действия / Пер. с нем. Т. В. Тягуновой // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 1. С. 3–24.
8. Хабермас Ю. Проблематика понимания смысла в социальных науках / Пер. с нем. Т. В. Тягуновой // Социологическое обозрение. 2008. Т. 7. № 3. С. 3–33.
9. Шюц А. О множественных реальностях / Пер. с англ. В. Г. Николаева // Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 401–455.
10. Шюц А. Обыденная и научная интерпретация человеческого действия / Пер. с англ. Н. М. Смирновой // Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 7–50.
11. Шюц А. Размышления о проблеме релевантности / Пер. с англ. Н. М. Смирновой // Шюц А. Избранное: мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН, 2004. С. 235–398.
12. Auer P. Sprachliche Interaction. Eine Einführung anhand von 22 Klassikern. Tübingen: Niemeyer, 1999.
13. Benwell S., Stokoe E. H. University students resisting academic identity // Applying conversation analysis / Ed. By K. Richards, P. Seedhouse. Basingstoke: Palgrave, 2004. P. 124–139.
14. Eberle T. S. Ethnomethodologische Konversationsanalyse // Sozialwissenschaftliche Hermeneutik / R. Hitzler, A. Honer (Hrsg.). Leske+Budrich, Opladen, 1997. S. 245–279.
15. Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2: Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft. Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1981.
16. Knoblauch H. Kommunikationskultur: die kommunikative Konstruktion kultureller Kontexte. Berlin; New York: de Gruyter, 1995.
17. Patzelt W. Grundlagen der Ethnomethodologie: Theorie, Empirie und politikwissenschaftlicher Nutzen einer Soziologie des Alltags. München: Fink, 1987.

¹⁵ При этом «речь идет о том, — как пишет Мерло-Понти, — чтобы описывать, а не объяснять или анализировать» [6, с. 6].

18. *Schütz A., Luckmann T.* Strukturen der Lebenswelt. UVK Verlagsgesellschaft mbH, Konstanz, 2003.

19. *Selting M. et al.* Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem (GAT) // Linguistische Berichte. 1998. Heft 173. S. 91–122.

20. *Zimmermann D. H., Pollner M.* The Everyday World as a Phenomenon // Understanding Everyday Life / Ed. by J. D. Douglas. London, 1971.

21. *Zimmermann R.* Utopie—Rationalität—Politik.: zu Kritik, Rekonstruktion und Systematik einer emanzipatorischen Gesellschaftstheorie bei Marx und Habermas. Freiburg, Br.; München: Alber, 1985.

Использованные знаки транскрипции*

[] Накладывающиеся и параллельно произнесенные фрагменты речи.

= Быстрое присоединение нового оборота или единицы речи.

(.) Микропауза (до 1 сек.).

(2.0) Пауза, оцененная как длящаяся приблизительно 2 сек.

и=э Растяжение единицы речи.

:, ::, ::: Удлинение, в зависимости от длительности.

ээ, аа и т. д. Сигналы задержки речи, так называемые «наполненные паузы», внезапные обрывы вследствие глоттальной смычки.

((смеется)) Описание смеха.

((кашляет)) Описание пара- и невербальных действий и событий.

<<смеясь>> Описание сопровождающего речь пара- и невербального длящегося действия.

() Неясный фрагмент, расстояние между скобками зависит от длины произносимой речи.

акцЕнт Интонационное ударение.

↑ Повышение интонации.

↓ Понижение интонации.

? Резкое возрастание интонации в конце единицы речи.

; Постепенное снижение интонации в конце единицы речи.

. Резкое снижение интонации в конце единицы речи.

/ Обрыв слова или фразы

* Согласно правилам транскрибирования Разговорно-аналитической системы транскрипции (Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem, GAT), используемой в рамках анализа разговора (с небольшими модификациями), см.: [19].

IN MEMORIAM

Памяти Вадима Цымбурского

На смерть Робинзона Крузо

...И вот он умер. К этой смерти готовились давно, сам Робинзон – я встретил его один-единственный раз на фэпнике-2008, куда случайно попал, наверно, именно для этого – смотрел на мир уже не отсюда, грустно и одиноко, как мелодия из «Четырех последних песен» Р.Штрауса. Вокруг него деловито сновал народ, решавший свои текущие дела и делишки, и никому особенно дела не было до этого человека, сидевшего в тесной толпе на лавочке напротив громко орущих рок-музыкантов. Ему было, кажется, все равно, что орало. Он был готов повествовать любому, кто готов его слушать, свои эпические сказки о свершении судеб больших пространств, где возникают и гибнут царства и народы. Лена Петровская, увидевшая его мучительное одиночество, попросила меня сесть и поговорить. Говорить он начал сразу, мне не пришлось искать «путей». Собственно, ему было все равно, лишь бы повествовать и повествовать о богах и героях. Слушать было трудно, орала проклятая музыка, но я все равно заслушался. Передо мной был Гомер или один из тех стариков, что рассказывают по вечерам древние былины в ирландских пабах. Ему не повезло, он не там и не тогда родился, в этой стране никому не нужны былинные сказатели и здесь не очень любят слушать других. Я был готов слушать его бесконечно, это было красиво и умно. Истина была внутри самой речи, ей не требовалось никаких скучных внешних референций. Как всякая поэзия, она держала себя сама. Я чувствовал себя Пятницей при великом и таинственном Робинзоне, вынесенном на берег этого ничтожного острова как дар неведомых духов неведомых предков.

Увы, скоро меня увели – знакомить с одним шустрым молодым человеком из РЖ. Уходил я неохотно, Робинзон лишь грустно улыбнулся, прервавшись на полуслове, и кивнул на прощанье. И снова он сидел одинокий в толпе на лавочке, ожидая новых Пятниц.

Контраст с шустрым молодым человеком оказался шокирующим. В лицо мне дохнуло другой эпохой, другими нравами, другим миром. Мне не нужно было ни этого шустрого молодого человека, ни этих нравов и этой эпохи. Я хотел обратно, к Робинзону. Мимо пробежал хозяин всего шабаша, ядовито улыбаясь и всучивая всем какой-то журналчик и книжонку про брехню. Затем мы ушли, и больше я Робинзона не встречал.

И вот его не стало.

Теперь этот остров заселят, отталкивая друг друга локтями, шустрые молодые люди. Они распашут его и засеют картошкой и табаком на продажу. Они знают, чего хотят и совсем не чувствуют себя Пятницами. У них все получится, они будут жить долго и счастливо. Но ни один из них не умеет рассказывать таких прекрасных сказок. А без них он разве нужен, этот остров?

Эдуард Надточий

«Мы закрутились в каком-то странном межвременье...»

Интервью с Вадимом Леонидовичем Цымбурским. Февраль 2004 года.
Беседовали М.Г.Пугачева и С.Ф.Ярмолук.

– *Для начала, Вадим Леонидович, возможно, странный вопрос: кем вы себя считаете? По вашим публикациям это довольно не просто определить.*

– Я считаю себя политическим писателем.

– *Образование философское?*

– Классическая филология. Кафедра Тахо-Годи. Окончил Московский университет, потом аспирантура, защита кандидатской диссертации «Гомер и этногенез в северо-западной Анатолии». В соавторстве с крупным ученым Леонидом Александровичем Гиндиным (уже после его смерти) выпустил книгу «Гомер и Восточное Средиземноморье». И долгое время сознавал себя исключительно как филолог-классик.

– *А почему переключились на философию, политологию?*

– Мы с мамой обменяли довольно неплохую квартиру в Белоруссии на однокомнатную в Подмоскovie, где живем и до сих пор. Работы здесь для меня не было. И в это время один мой знакомый, который создавал «под себя» лабораторию в Институте США и Канады (она называлась «Лаборатория структурного анализа и моделирования политических и управленческих решений»), сказал, что у него есть для меня место «мэнэса». Туда я и пошел. С этого началось мое включение в политологическую среду.

– *И каково ваше понимание современного мира? Как вы охарактеризовали бы важные, с вашей точки зрения, тенденции мирового развития и российские реалии?*

– Давайте так: я просто расскажу, над чем работал последние десять-пятнадцать лет, что пытался осмыслить в своих основных публикациях. Это, наверное, и станет ответом.

В конце 80-х годов я внутренне почувствовал свое неприятие происходивших в стране процессов. До сих пор помню, как стою на ступеньках Ленинки и вижу шагающую на меня толпу с лозунгами: «Горбачев, не завидуй всенародной любви к Ельцину!», «Попы марксистского прихода, почем наркотик для народа?». Несут плакат – разорванные цепи, написано «Коммунизм – наша цепь». Ленинка еще нормально функционирует, в нее еще нормально приходят книги и журналы из самых разных концов зарубежья. А мимо идут эти люди, и я чувствую исходящую от них опасность. Это 90-й–начало 91-го... В 89-ом году я умудрился в порядке так сказать научного визита вместе с другими людьми из нашего института побывать в Эстонии. Я видел, как там нарастала атмосфера той «поющей революции». Я общался с людьми из Интерфронта, и меня поразило, насколько симпатичны и умны были эти люди по сравнению с их оппонентами. Я видел ту ночную зимнюю Эстонию, когда на вопрос по-русски: «Как пройти к вокзалу?» – от тебя шарахались, и кажется, даже эстонские кошки на тебя агрессивно мявкали из подворотен. И вот теперь, уже в Москве, я ощущал, как нависает опасность. В то время мы с Гасаном Гусейновым (сейчас он трудится где-то в Германии) и Денисом Викторовичем Драгунским разрабатывали целую парадигму. Либерально-имперскую, если угодно. Тогда впервые прозвучали слова о

кольцевой системе «Демократического Севера», – та идея, что потом озвучил Анатолий Борисович Чубайс. Забавно! Для меня все шансы либерального империализма канули в 91-м году – это было концом подобных исканий, было шоком, да, но не скорбью по России-СССР. Пока масса людей кричала о том, что Россия рухнет и так далее, я отчетливо осознал, что вот эта сжавшаяся Россия – моя страна, и я хочу в ней жить. Когда в 92-м году критики правительства талдычили, как важно сохранить единое пространство, во всякого рода дискуссиях я задавал вопрос: зачем – единое пространство? Как оно будет работать на Россию, проступившую на карте при нас? На исторический смысл этой проступившей ядровой России? Меня поражали выпяливавшиеся на меня при этих вопросах глаза и болтовня либо о конце великой Евразии и приходе «Анти-России», либо о национальном государстве, смене цивилизационного кода, «демократии вместо империи», и прочий репертуар тогдашней тусовки.

В 93-м я написал статью «Остров Россия», которая была опубликована в журнале «Полис», а потом перепечатана в четырехтомнике «Иное». Что здесь для меня было самое главное? Поразило сходство в конфигурации вот этой России, возникшей после 91-го года, с Россией, условно говоря, середины XVII века, до Переяславской Рады. Это было государство первых Романовых, уже с Сибирью, уже вышедшее в Приморье, и лишь непонятно, по эту или по ту сторону Тихого океана оно остановится в своем разрастании. Государство, которое в пределах Балто-Черноморья двигалось к Черному морю и заглядывало на Ближний Восток, но при том абсолютно не смотрело в сторону Европы с точки зрения возможного проникновения, прорастания в нее. Меня позитивно впечатлило это сходство, и впервые возникла мысль, что, может быть, исчерпался некий огромный цикл, по-своему великолепный и оригинально о себе заявивший, но безнадежно закончившийся, под которым нужно подвести итоги. Развитие этой мысли было таким. Если взглянуть на Россию как она есть, Россию, отделенную от Азии трудными пространствами Сибири, русской Северо-Восточной Азии, Россию, отделенную от великих азиатских цивилизаций поясом южных гор и пустынь, а от коренной Европы романо-германских народов поясом племен, ни к той ни к другой генетически не принадлежащих (балтов, западных и южных славян, мадьяр и так далее) – то эта Россия предстает перед нами гигантским островом внутри материка, островом, прижавшимся, как отмечали евразийцы, к Ледовитому океану, но в то же время дистанцированным и отдаленным от всех других цивилизационных платформ, образующих как бы некоторую единую цепь, протянувшуюся по берегам незамерзающих океанов. Мысль моя состояла в том, чтобы рассмотреть, если угодно, всю нашу имперскую историю через призму того паттерна, который вырисовался в 1991–1992 годах. Рассмотреть, что, собственно, Россия делала в те века не так, в результате чего она должна была откатиться к древним рубежам и к этому «островному» состоянию. Вот главная постановка вопроса. Я исходил из того, что Россия совершила один глубочайший, так сказать, грех, вообразивши себя после Петра Великого Европой. Ибо – вообразивши себя Европой – она устремилась к участию в политике коренных европейских романо-германских народов. Устремившись к этому участию, она неизбежно должна была проецировать силу на основную европейскую платформу и включаться в европейскую игру. А для того чтобы проникнуть туда, в Европу, она должна была перешагнуть через пояс территорий и проливов, которые я называю *strait-territories* и *stream-territories*, и должна была так или иначе их поглотить и без разбора инкорпорировать. С этого момента, с XVIII века начинается эпоха постоянного всасывания Россией в себя территорий, не органичных ей цивилизационно, что предполагало разжижение ее цивилизационной основы, включение массы людей, в значительной степени ей чуждых и не понимающих ее первоначальных цивилизационных интересов и установок. Константин Леонтьев когда-то говорил, что, силясь включить западных и южных славян, Россия просто элементарно подрывала свое существование. То же касалось и массы иных, вобранных Россией лимитрофных народов.

Таков был основной, фундаментальный тезис «Острова Россия». Многие из этой моей работы вошло в последующие: идея «трудных пространств»; идея *strait-territories* и *stream-*

territories, отделяющих Россию от других народов; идея «похищения Европы», которой было одержимо российское сознание и которая выливалась в самые разные, взаимоисключающие формы, от очевидной и наглой агрессии до готовности расточиться, раствориться, сократиться до какого-то кусочка, например, до Урала, – лишь бы в Европе, лишь бы в нее войти, вписаться, встроиться. Я считал и считаю, что это все одинаково бесовские патологии, которые исказили, извратили цивилизационные установки, заложенные в XVI-XVII веках.

– Вас привела к этому ситуация в современной России?

– Я понял твердо только одно: нынешняя Россия с ее намерениями стать Европой просто не осознает, что для этого ей надо было, извиняюсь, зубами и когтями сохранять все территории, которые она покорила, вплоть до Польши. И тогда никто бы не усомнился, что она – Европа. Россия, когда ее танки стояли в трех днях пути до Ла-Манша, была очевидной и явной Европой. Кстати, лозунг «европейского дома» впервые прозвучал не из уст Горбачева, а из уст Брежнева в 80-м году во время его визита в ФРГ. Лозунг был такой: у нас общий европейский дом, и кто тот безумец, который ядерными ракетами захочет его разрушить. Как раз тогда было очевидно: мы все в европейском доме. Что стало совершенно не очевидно после 91-го.

Итак, это был мой первый заход. Я осознавал, что это время – мое время. И однако я осознавал, что окружающие меня люди – абсолютно не те, с которыми у меня есть какое бы то ни было взаимопонимание. Я практически не видел, каковы могли быть контакты с ними. «Западники» мной воспринимались, простите, просто как дурачки, которые, благополучно сдав все территории, выведившие Россию в Европу, теперь хотят быть европейцами, запершись в какой-то приуральский аппендикс Европы. «Патриотам», которые горланили – ах, матушка Россия потеряла гигантские пространства, гигантские позиции! – я говорил только одно: «Вы хотите повторить тот же круг? Возможно, вы получите его еще раз».

– А ваше, так сказать, кредо?

– В это время я впервые прочитал «Послания» старца Филофея, где была высветлена идея Третьего Рима, и она меня поразила глубиной и адекватностью тому, о чем я говорил. Вы знаете, как возникла на самом деле эта идея? Тогда в Европе распространялись гороскопы, гласящие, что наступает Всемирный потоп. И к старцу Филофею как серьезному эксперту обратились с вопросом – что он об этом думает? Он ответил, что, как известно, рисуемый Апокалипсисом потоп есть не что иное, как потоп неверия и апостасии – отпадения мира от Бога. В этом смысле нечего бояться потопа, писал Филофей, мир давно потоплен. Остался остров, один остров, который стоит над потопленной вселенной, и задача в том, чтобы продержаться на этом острове до того момента, когда сойдет на Землю Небесный Иерусалим. Это удивительно перекликалось с той конфигурацией России, окруженной *strait-territories*, *stream-territories* и так далее...

Самое интересное, что из этого первого моего задела 91-го года возникла целая программа исследований. Тем более, что он, конечно, не был научным. Это было чисто политическое письмо. Но ведь геополитика и не является академической наукой. Она представляет собой род политической практики, состоящей в том, чтобы воспринимать мир в географических конфигурациях, в которые вложены политические отношения, отношения конкуренции, доминирования, власти и подчинения, а также и сотрудничества. И геополитика – уже не как мировидение, а как политическая практика – состоит в умении конструировать такие образы, создавать их, стратегически их применять. Геополитика в этом смысле – конечно же, не научная деятельность, хотя бы потому, что попперовским критериям фальсификации, проверки на опровержимость она никак не отвечает. Но геополитика, несомненно, способна стимулировать научную деятельность в порядке

выработки тех систем данных, на которые могут опереться геополитические проекты. Достаточно вспомнить: евразийцы, вообразившие, что тюрко-монгольско-русская Евразия представляет некий единый органический мир, сформулировали эту политическую платформу как исследовательское задание, и у Петра Савицкого появились великолепные исследования по структурной географии, у Романа Якобсона – интереснейшее исследование по евразийскому языковому союзу, у Николая Трубецкого – по музыкальной культуре народов этого пространства. Геополитика не наука, но для науки она способна служить интереснейшим заданием. Я бы сказал так: стопами своими она упирается в политическую пропаганду; головой своей она уходит в философию истории и в этом качестве способна давать стимулы академической науке. В моем понимании это просто определенная политическая деятельность и политическое мировидение. В моих работах переплетались политическая эссеистика и собственно научные исследования. Я все время думал, что, может быть, когда-нибудь произойдет расщепление, и я напишу отдельно научную книгу (скажем, историю геополитической мысли в России), а отдельно займусь просто публицистикой. Пока этого не произошло, хотя, думаю, через годик-два, возможно, и произойдет.

Но вернемся к тому, о чем говорил. От модели «Остров Россия» отпочковались три направления моей работы, а одно, совсем новое, проклюнулось уже в 2000-х. Первое – эссеистическое, менее всего научное. Меня интересовала «островная» тема в культуре России – кроме Филофея, которого я, однако же, постоянно держал в памяти. С изумлением я увидел, что, в частности, на всем арабском Ближнем Востоке с IX века н.э. до XVI существовало курьезное представление об острове руссов – Руси, затем уже и о России как об острове, окруженном со всех сторон водами. Когда стал смотреть, откуда это взялось, то вынужден был разделить точку зрения Шахматова и Новосельцева, что речь идет, попросту говоря, о псковском и новгородском ландшафте, окаймленном со всех сторон болотами и озерами, где зарождалась Русь, о которой арабы впервые узнали через хазар. Следующий этап был более удивительный. Я увидел, что в XVI веке у ряда российских авторов существует понятие «великого острова Русии», чего я не знал, когда писал свою работу. И эти авторы – сплошь происходящие из Псковщины и Новгородчины. То есть они распространили на воздвигшееся Московское царство идею своей Руси и как земли, окаймленной естественными физико-географическими преградами, как великого острова внутри континента. Следующий шаг состоял в том, чтобы увидеть простую вещь: ведь любимец мой Филофей тоже псковитянин. То есть это человек, смоделировавший идею «Третьего Рима» по образцу своих псковско-новгородских ландшафтов с каймой озер по горизонту. Я написал после этого статью «От великого острова Русии к прасимволу российской цивилизации», где высказал мысль, что прафеноменом России, прасимволом русской цивилизации в шпенглеровском смысле можно считать не просто бескрайнее пространство, как об этом много писали, а некий «выступ» среди этого пространства, частично сливающийся с ним, частично выпирающий из него (как когда-то написал Шпенглер о старых русских церквях – они торчат, они вырисовываются исключительно по отношению к внешнему миру, выступом своим над ним). Это дало ключ к пониманию московского шатрового стиля XVI-XVII веков. Это дало ключ к пониманию очень многих последующих феноменов – даже к перерождению русской культуры в XVII веке при первых Романовых, которые от идеи острова в потопленном мире обратились к мысли о том, что потопленный мир можно «поднять» (что породило впоследствии все эти эксцессы в виде борьбы со старообрядчеством и так далее). Через эту идею я понял, насколько смог понять, фундаментальный старообрядческий китежанский миф, миф острова, уходящего под воды, собственно – Третьего Рима, уходящего из истории, и антимиф – идею Петербурга, того самого Нового Рима, нового града святого Петра как нечистого города, вставшего над водами и обреченного быть ими поглощенным. Для меня, несомненно, было очень значимо, что Петербург находился в тех самых местах, где лежал древний «остров Русия», где складывался миф Третьего Рима. Получилось большое, обзорное исследование, там много всего – вплоть до «Архипелага ГУЛАГ». Помните, с этим его фундаментальным сюжетом:

райский остров Соловки, встающий над северным морем, преобразается в дьявольский остров, начинает давать побеги, метастазы на континент и завершается чудовищным «архипелажным» образованием. Это было, повторю, первое направление, которое я рассматриваю как герменевтико-публицистическое. Самое важное, что оно меня по-настоящему свело со Шпенглером.

Второе направление – чисто геополитическое. Меня заинтересовало, что представляет собой вот эта система – *strait-territories* или *stream-territories*. Можно ли ее определить не чисто в категориях примитивного силового баланса, что, мол, вот крупное государство, а вокруг него мелкие и более слабые? Тогда я вынужден был обратиться (это 95-й год) к проблеме так называемых цивилизаций. В то время нашумела работа Самуэла Хантингтона с идеей цивилизационных разломов и конфликтов по этим разломам. Я с самого начала считал, что вся эта схематика разломов, которую он выстраивает, совершенно абсурдна, потому что в Европе, на этом пространстве между Россией и ядровым западноевропейским романо-германским и католически-протестантским сообществом, простирается пояс народов, внутри которых вы можете конструировать эти разломы самым разным и самым произвольным образом по политической конъюнктуре. Меня впечатлила судьба хорватов, например: в один век они вместе с венграми поднимаются против австрийцев (все негерманцы); в другой век они с православными славянами идут против венгров и австрийцев – значит уже славянство становится различительной чертой, и всякий, кто не славянин, ближе к коренной Европе; на следующем этапе они переструктурируются, по признаку католицизма сливаются с венграми и австрийцами и разворачиваются против сербов; и как знать, не развернутся ли они на следующем этапе вместе с теми же сербами против, скажем, боснийцев. Абсолютно непредсказуемо. Для меня было ясно, что на этих территориях никаких внятных цивилизационных разломов нет, а та цивилизационная черта, которую провел Хантингтон и которая рассекала бы Украину по реке Збруч (это между униатской Украиной и православной), – совершенно произвольная конструкция. Я понимаю цивилизацию как совокупность народов, политически контролирующую достаточно обособленный географический ареал и притом воздвигающую над этим ареалом специфическую сакральную вертикаль – религию или идеологию, проецирующую само существование данных народов в план конечных целей и вместе с тем исконных первоначал существования человечества, объявляющую такие народы «основным человечеством на основной земле». Между такими ядровыми сообществами цивилизации простираются пояса народов, которые либо к той или иной цивилизации примыкают, либо отталкиваются от нее, но так или иначе не охватываются ни одним цивилизационным ядром. Это народы, которые если включаются в цивилизацию (ну, как, например, западные славяне), то потому, что по тем или иным причинам «ядро» условно благоволило принять их в свой круг. Так называемые кооптированные народы. В том же случае, когда они обретаются между цивилизациями, они конституируют лимитрофное, промежуточное, переходное пространство.

Меня чрезвычайно заинтересовала судьба народов этих переходных пространств. Я отметил тогда рассуждения о лимитрофах молодого, очень интересного, к сожалению, сейчас почти не пишущего воронежского геополитика Станислава Хатунцева. В частности, он первый наметил идею некоего Великого Лимитрофа, который мог бы проходить через Евро-Азию, но при этом все поле бывшего СССР он, как старые евразийцы, принимал за единый цивилизационный мир, а лимитроф для него проходил где-то по землям Афганистана. Я интерпретировал понятие Великого Лимитрофа иначе: в настоящее время мы видим на территории Евро-Азии гигантский пояс народов, не интегрированных до конца ни в одну из крупных цивилизаций – ни в европейскую, ни в русскую (российскую), ни в китайскую (конфуцианскую), ни в индуистскую, ни в арабо-иранскую мусульманскую. Этот пояс начинается, пожалуй, с Финляндии, идет через Прибалтику, Восточную Европу с Крымом, проходит через Кавказ, через новую, постсоветскую Центральную Азию; и дальше естественным его продолжением оказываются земли тюркских и монгольских народов,

обитающих на стыке России и Китая, – как контролируемых сейчас Россией и Китаем, так и суверенных (Монголия); в конце концов этот пояс кончается на Корейском полуострове, и наиболее «прохудившийся» его участок – Манчжурия, которую китайцы успели все-таки изрядно китаизировать (но до поры до времени она принадлежала к этому поясу). Так у меня возникло определение России как земли, которая по отношению к любой цивилизации незамерзающих морей выступает как «земля за Великим Лимитрофом». «Остров Россия» превратился в «землю за Великим Лимитрофом». Потом последовала целая серия геополитических разработок на этот счет. О том, как Великий Лимитроф структурируется на каждом участке. Почему, по каким физико-географическим мотивам отличается его структура на восточно-европейском участке от кавказской, или от новой центрально-азиатской структуры, или от алтайской. Со временем эти разработки трансформировались в геоэкономические и геостратегические, когда я обратил внимание на любопытнейший фактор, а именно: распространение американского (шире – атлантического) контроля в Евразии именно по этому поясу. Когда я увидел вот эту новую Восточную Европу как инструмент для американского контроля над коренной Европой, французской и немецкой; когда стало очевидным продвижение американцев в Закавказье и особая роль в данном случае Грузии и Азербайджана; когда американские базы появились в Центральной Азии – меня всерьез заинтересовало, честно говоря, будущее алтайских народов на стыке России и Китая. Потому что представляется совершенно понятным: чтобы достроить эту систему контроля, необходимо обеспечить геостратегические связующие звенья между Корейским полуостровом и Центральной Азией, между базами в Центральной Азии и базами на Корейском полуострове. Я думаю, рано или поздно будут предприняты попытки к тому, чтобы добиться суверенизации этих народов и их перехода под американско-японский контроль.

Вот один из предметов моих раздумий. Некоторое время я размышлял вообще над возможностью стратегического сплочения народов разных цивилизаций Евро-Азии, выходящих на Великий Лимитроф. Это геокультурно холодная программа, как я её называл, которая означала бы союз, не предполагающий никакого особенного духовного братства, но просто опирающийся на альтернативу: либо Великий Лимитроф станет поясом, разделяющим, но в то же время связующим выходящие на него цивилизации, либо он превратится в инструмент контроля над этими цивилизациями в руках внешней силы. Сейчас я думаю, что в результате путинской политики последних лет второй вариант практически неизбежен. Потому наработки по этой теме, которые я успел опубликовать, я пока отложил как мало актуальные.

И наконец – третье из направлений, о которых мы говорим, самое перспективное и интересное для меня лично: «хронополитика» (термин, появившийся с конца 80-х годов), хронополитическое измерение российской геополитики. Если проекты геополитики, её паттерны опираются на неоднородность земного пространства, то конструкции хронополитики опираются на неоднородность времени. Различные циклы, тренды, хронологические динамики исследуются с точки зрения опоры для политических проектов. Или – какие опасности можно усмотреть в этих динамиках и какие выдвинуть контрпроекты, чтобы нейтрализовать эти опасности. Первое, что меня в данном случае здесь заинтересовало: я обратил внимание на то, как «остров Россия» напозавет на Европу, как она играет с ним, я увидел в этом некоторую повторяемость и описал её в статье «Циклы похищения Европы. Большое примечание к "Острову Россия"» (в сборнике «Иное»). При Екатерине I в 1726 году был заключен договор, который объединял Россию с Австрией против Франции и Пруссии. Это момент, когда Россия входит в Европу. Даже не при Петре (в своей геополитике он оставался все-таки последним московским царем). С царствования Екатерины I по-настоящему начинается история нашей Империи как европейской силы. В этой истории геостратегия обнаруживает четкую повторяемость, а именно: она членится на изоморфные циклы, притом в каждом из них выделяются три фазы, которые различаются определенным событийным содержанием – специфическим отношением России к

пространству Запада. В каждом из этих циклов фаза А характеризуется тем, что Россия выступает вспомогательной силой в европейском антагонизме, поддерживающей одну какую-то сторону против другой. Играя на этом антагонизме, Россия пытается развернуться в том пространстве, которое было ее стратегическим пространством в XVI–XVII веках, реализовать свои балтийско-черноморские запросы с выдвиганием на Ближний Восток. Первая такая фаза – это, конечно, весь XVIII век, наше участие в европейских играх («Северный аккорд» графа Панина, Греческий проект Потемкина). Вторая фаза – участие в Антанте. Третья – два года пакта Молотова-Риббентропа. Этот период всегда кончается кризисом – европейская война переносится непосредственно на территорию России и захватывает её. Таково вторжение Наполеона; в следующий раз – Брестский мир и походы Антанты, стремившейся прежде всего предотвратить превращение России в германскую ресурсную базу; наконец, вторжение Гитлера. Россия изживает кризис своей первой фазы, и наступает вторая: наша Империя переходит в наступление, пытается выдвинуть свой проект для Европы, реструктурировать европейское пространство на максимально безопасных и благоприятных для себя условиях. Это «Священный союз» (причем, конечно, не только в годы Александра I, но и Николая I); это попытка с конца 1918-го по 1920-й годы (а если расширенно – по 1923) внести большевистскую революцию в Европу, прежде всего в Германию и Италию; и наконец – это ялтинская система. Далее наступает кризис. Европа, объединившись, отбрасывает Россию вспять, и подходит третья фаза (в первом варианте я называл эти третьи фазы «евразийскими интермедиями», потом – просто евразийскими фазами). Россия пытается выстроить свое особое пространство вне пространства Запада и как следствие – конфликтует с теми силами, которые представляют Запад за пределами Европы – с Англией прежде всего, в первом и втором циклических заходах. Тянутся эти евразийские фазы до момента, когда расколотый Запад (по крайней мере часть его) считает для себя благом снова втянуть Россию в свою игру. Впечатление такой дурной имперской повторяемости меня действительно ошеломило. И всякий раз, когда наши геополитики трубили о том, что «ух, как здорово, соединимся с немцами против американской гегемонии, черт побери!» или «соединимся с иранцами, китайцами, индусами и выстроим антизападный союз», на меня веяло теми повторяющимися ритмами Империи, крутящейся аки коза на приколе.

– В этой вашей конструкции Америка как цивилизация играет какую-то роль? Речь, конечно, не о первых двух кругах, ну, а в третьем-то она уже стала игроком.

– Америку я никогда не рассматривал как отдельную цивилизацию. Это, что называется, побег западной цивилизации на другом атлантическом берегу, ее часть. Но с Америкой в моих построениях связано вот что. Меня страшно заинтересовало, почему циклы столь не однородны. Почему, например, фаза А в первом цикле длится весь XVIII век, во втором – занимает десять антантовских лет, а в третьем – два года пакта Молотова-Риббентропа?

– Как говорят сейчас, всё убыстрется.

– Но тогда объясните, если время сжимается, почему вторая фаза во втором цикле практически не развернулась – заняла лишь два-три года, когда большевики пытались внести свою революцию в Европу, – а в третьем цикле она растянулась на всю ялтинскую эпоху, на 45 лет. Извините, принципом «сжатия времени» это не объяснишь. Кроме того, меня заинтересовала особенность той ялтинской эпохи: почему она обнаруживает явные черты наших европейских максимумов и вместе с тем странным образом – приметы евразийских интермедий? Это настойчивое конструирование «своего» пространства подчеркнуто за пределами Запада, доктрина Брежнева, по сути, выступившая прокламацией

нашей незаинтересованности в судьбах коренного Запада. В чем причины того, что эти фазы обретают какие-то специфические качества от цикла к циклу? И тогда я занялся проблемой милитаристской динамики того мира, с которым играла Россия, собственно, милитаристской динамикой Запада.

– А для вас Россия во всех этих циклах есть нечто однородное, неизменное? Как была при Василии Темном, так и при Путине...

– При Василии Темном России еще не было как геополитического субъекта... Когда мне говорили о возможной зависимости имперского цикла, его темпов от внутренней российской динамики, никаких серьезных доказательств тому не приводилось. За одним исключением – что антантовская фаза быстро пролетела, поскольку ее укоротили революции 17-го года. Но ведь сама февральская революция была спровоцирована определенным геостратегическим аффектом – крепнувшим разочарованием в нашей антантовской принадлежности и распространявшимся в данной связи в 15-м и 16-м годах толками об измене наверху и даже «на самом верху». А почему все-таки наше последующее наступление на Европу выдохлось за считанные годы, уступив место «социализму в одной стране»? Неужели по сугубо внутренним причинам? Или, наоборот, геостратегический крах надежды на скорое «похищение Европы» изменил основную доминанту большевизма? Впечатление таково, что сами внутрироссийские процессы во многом определялись протеканием имперского цикла.

И вот, стараясь объяснить неравномерность этого протекания, я обратился к милитаризму Запада. Меня интересовало – на какие динамики Запада проецируются те циклы «похищения Европы», которые потом я стал называть циклами системы Европа–Россия. Я опубликовал большую, в три печатных листа статью «Сверхдлинные военные циклы и мировая политика», где обратил внимание на то, что начиная с середины XIV века (с осени Средневековья) и до сих пор западная военная политика, западная стратегия, западный милитаризм характеризуются огромными циклами, волнами, длиной каждая в 150 лет, пять поколений политиков и военных. Причем эти волны группируются попарно, и к таким бинарным сверхэпохам в 300 лет можно бы приложить известное санскритское слово «юга», означающее сразу «эра» и «упряжка». До Нового времени встают две такие волны, или два протоцикла, условно 1340-е – 1494 (1495) годы, от начала Столетней войны до начала Итальянских, и за ним второй – 1495–1648. После этого идут также парой волны: 1648–1792, от Вестфальского мира до начала войн Французской революции, и 1792 – 1945. А после этого идет новая волна и с ней, возможно, новая юга, при которой мы живем.

Внутри этих 300-летних юг колеблются эпохальные соотношения между возможностями мобилизации и уничтожения. В каждой юге сперва на 150 лет начинают главенствовать возможности уничтожения – и как следствие перестраивается эталон победы, возникает идея победы как сделки, как принуждение противника к уступкам перед неблагоприятной для него перспективой. Затем на 150 лет торжествуют возможности мобилизации – и рождается идея победы как полного сокрушения, уничтожения противника. Каждый раз изменяется масштаб политических проектов. Каждый раз первая волна – это постепенное угасание великих планов или по крайней мере попытки воплотить их, пропустив как через фильтр, через эталон победы-сделки, и каждый раз вторая волна – это идея, что называется, битвы за радикальную перестройку всего окружающего пространства, всего доступного мира под знаком великих проектов.

Взять первую югу. Внутри нее первый протоцикл (1348–1492) – время, когда появляющееся огнестрельное оружие и мощь лучников, продемонстрированная англичанами в Столетней войне, доминируют над старой средневековой рыцарской конницей. Как велись в то время войны, можно видеть по той же Столетней войне с бесконечными сделками, выкупами, перепродажами, с участием имперского замысла; можно по гуситским войнам, где становилось ясно, что обороняющаяся артиллерия полностью доминирует над любыми

атаками извне; можно судить и по войнам итальянских кондотьеров, которые собирались на поле битвы, взвешивали, сколько сил у того и другого, прикидывали, какие будут результаты, и расходились, подводя итог. Следующий протоцикл той же юги (1494–1648) – эпоха деклассированных наемников, вербуемых в Германии и Швейцарии и бросаемых массами в битву. Картина гигантских войн – чудовищная схватка французов и австрийцев, гугенотские войны, Тридцатилетняя война. То, что американские историки называют «первым прообразом тоталитарных войн XX века». Перейдем ко второй юге. Начальная фаза: в Тридцатилетней войне (в армии Густава Адольфа) впервые прорезается превосходство огня. И затем наступают 150 лет абсолютного доминирования огня над возможностями мобилизации: крупная европейская армия может быть уничтожена огневым валом за день битвы, с аналогичными последствиями и для ее противника; верховенство маневра над битвой, постоянное стремление создать такие неблагоприятные условия для противника, когда бы он сам уступил и попятился, пошел на компромисс; ограниченные высокоманевренные, высокопрофессиональные армии, все эти «войны за наследства» – австрийское, испанское, польское; бесконечные попытки сконструировать расклад сил, который обеспечил бы очевидный перевес той или иной из борющихся сторон. И наконец – после Семилетней войны вообще абсолютный милитаристский пат, все считают, что воевать бессмысленно, нерезультативно, только проливать кровь – война себя не окупит. И далее встает вторая волна той же юги. Сперва это войны Французской революции, которые, отталкиваясь от примера американской войны за независимость, продемонстрировали возможность такого феномена, как «вооруженный народ», возможность массовых вооруженных армий – от пяти процентов населения и выше. Позднее, в XIX веке, этот принцип оказывается рационализированным в виде так называемых кадровых армий, которые относительно немногочисленны в мирное время, а в годы войны достигают от десяти процентов населения до двадцати (в Германии во время Второй мировой войны). И в это время возникают гигантские империалистические и идеократические проекты – от замыслов Наполеона до проектов Третьего рейха, до милитаристских проектов, связанных с Коммунистическим Интернационалом, которые разрабатывались у нас в 1920-х годах. И вслед за тем – очередная понижительная волна, рожденная ялтинской эпохой. То есть мы на самом деле входим в третью Югу, в пятую 150-летнюю волну и переживаем большое понижение милитаристской динамики.

– Ну да!

– Вам не верится просто потому, что вы, как и множество наших современников, подзабыли, как воевалось на предыдущей экспансивной волне, как схлестывались многомиллионные армии лоб в лоб, давя друг друга до безоговорочной капитуляции той, у которой у первой треснет хребет. Мы меряем все происходящее при нас, все эти экспедиции вроде иракской уже утвердившимся зауженным эталоном войны и победы. Но продолжу.

Если взять первые депрессивные 150-летия в югах, то получается, что примерно каждые начальные 50 лет, в первые два поколения происходит трансформация больших имперских заявок в игру «по маленькой». Так было и в Столетнюю войну, и во второй половине XVII века. А третье поколение в этих 150-летних циклах пытается решить проблему большого геополитического и милитаристского строительства в рамках зауженного эталона победы, используя политическую конъюнктуру, технические нововведения и всё подобное, чтобы все-таки шаг за шагом, методом stop-and-go, обеспечить достижение больших имперских целей. То есть сейчас мы входим в такое время, когда люди пытаются решить крупные имперские задачи, играя «по маленькой». Ведь очевидно, что все эти войны, особенно американские, которые уже получили прозвище «кассовых», – это войны без больших схваток, без битв, когда лучше не сходить с противником, а купить его, заставить уйти с поля. Сейчас люди интуитивно усвоили идею того, что в принципе возможности мобилизации уступают возможностям уничтожения, и даже в локальных,

ограниченных войнах пытаются действовать так, чтобы не развязывать потенциал уничтожения во всей его силе и полноте. Как бы заглядывая вдаль, можно задаться вопросом: реально ли на новом уровне возвращение к тем самым тотальным битвам? Я знаю одно, что идущая постиндустриальная революция выбрасывает массу людей из их ниш – как на Западе, так и в связанных с ним странах Третьего мира. Огромное количество незанятых людей. Прежде, в конце Средневековья, из таких масс формировались полчища ландскнехтов, бившихся в войнах XVI века. Потом, после первой промышленной революции, крестьяне, лишавшиеся земли, выбрасывались в города и во многом сформировали армии XIX – первой половины XX веков. То есть в принципе вполне возможно, что нечто подобное наступит, скажем, под конец XXI века – когда можно было бы ожидать начала второй, экспансивной волны нынешней юги.

Самое интересное, на мой взгляд, – то, что международная европейская система во все века перестраивалась сообразно с теми самыми волнами, постепенно эволюционируя к системе мировой. Каждый раз первая волна в каждой юге определяет возможность некоторого образа Европы, европейского расклада, и этот расклад реализуется на второй волне, во вторые 150-летия 300-летней юги. В 1348–1494 годы складывается Европа двух крупных консолидированных территориальных государств – Франции и обновленной Священной Римской Империи, сплотившейся вокруг австрийского ядра. В следующей, повышательной уже волне эти государства сходятся в битве, возникает биполярная Европа противостоящих супергигантов. После 1648 года за следующие 150 лет, когда становится ясно, что ни один из супергигантов не достаточно гигант, чтобы одолеть другого, вступает в игру Англия как европейский балансир; французы энергично взращивают Пруссию, раскалывая восточное ядро Европы, как бы формируя себе союзника, наносящего удар Австрии в спину; в ответ австрийцы втягивают в игру Россию. К 1792 году обозначается возможность новой Европы, где потенциальными лидерами обозначаются Англия, прусская Германия и Россия. В следующие 150 лет эта возможность осуществляется: мы видим, как из европейского расклада вылетают старые игроки – рушится Австрия, Франция перестает быть великой державой. Центры силы сдвигаются за пределы коренной Европы Карла Великого – западный центр уходит на острова Европы, сначала на Британские; с другой стороны, возникает фундаментальный спор между Россией и Германией – кто усвоит австрийское наследство и станет восточным центром Европы. Время этого выбора приходится на нашу первую «евразийскую интермедию», когда Россия оказывается выкинутой из Европы после Крымской войны. И новым восточным центром становится Второй Рейх, а Россия – подспорьем и союзником западного центра, Англии, Антанты. Посмотрим, что происходит дальше, за оставшиеся годы этого цикла. Англия ко Второй мировой войне рушится тоже, обнаруживая неспособность справляться с новой задачей; в качестве западного центра втягивается еще более далекое «островное» государство – Соединенные Штаты. Германия оказывается полностью размолотой, и на очередной депрессивной волне сперва возникает новый расклад европейской биполярности, его представляют с обеих сторон силы, лежащие за пределами Европы: с одной стороны – за Атлантикой, с другой – в глубине Евразии. Тем самым биполярность европейская трансформируется в биполярность мировую. Впервые проступает возможность расклада «West and the Rest», о котором писал Хантингтон. Россия споткнулась при Горбачеве, вернулась к своему «лесному одиночеству», как выражался первый геополитик Халфорд Макиндер, и перестала играть роль «the Rest». Но вся сегодняшняя американская политика, все американское имперское строительство проникнуты идеей, что где-то есть, возникает вот этот «the Rest», возможный противник. Он может осмысляться как угодно – как Россия, вернувшаяся на путь милитаризма, как исламский мир, Китай, даже Япония, как вообще международный терроризм. От юги к юге изменяется формула биполярности: от франко-австрийской к англо-германской и от последней к биполярности «West and the Rest».

– *С противником, не привязанным к территории...*

– Да, даже не привязанным пока к конкретной территории. Впечатление, будто американский глаз отчаянно шарит по миру, высматривая, откуда придет «враг». Мы оказываемся в цикле, когда – не буду говорить «должен» – может сформироваться противник, и при том непонятно, кто им станет. Мы видим, что возникает попытка выстроить новое мировое имперское пространство методами stop-and-go и что – для меня это особенно интересно в связи с работами по Великому Лимитрофу – важнейшей структурой новой империи должна стать структура контроля над протяженностями этого лимитрофа, позволяющая практически все центры силы, привязанные к определенным цивилизациям Евразии, сдавливать с двух сторон: мощью океана и базами с континента. Так строится империя у нас на глазах. Следует помнить, что пока – как и во всех депрессивных волнах – новый расклад кристаллизуется именно что возможностью, которой предстоит реализоваться в будущие века, на экспансивной волне той же юги.

Но вернусь к тому, от чего я отступил. Дело в том, что для меня было очень важно рассмотреть, как вот эти структуры западного милитаризма соотносятся с динамикой системы «Европа – Россия». И выяснилась фундаментальная вещь (в общем ее можно было даже предугадать): всякий раз во время депрессивных, понижительных волн колесо циклов системы Европа – Россия крутится очень медленно. Мы как вошли подспорьем Австрии в XVIII веке в европейский расклад – на депрессивной волне, – так им весь век и оставались. Зато когда начинают подниматься экспансивные, бурные волны, а особенно когда в них еще собственно повышательные фазы, всплески, тут начинается что-то невообразимое. В XVIII веке мы 60 лет пребывали в одной фазе, в XX веке – за 40 лет (1907–1949) «проскакали» четыре фазы и влетели в пятую. Совершенно молниеносно. Однако как только вновь наступает очередная депрессивная фаза под знаком атомного оружия – опять наш имперский цикл тянется медленно-медленно: ялтинская система длилась 45–50 лет, а могла бы и еще дольше. Стало ясно, что Россия геостратегически может характеризоваться как держава, живущая в условиях двоеритмия: в одном ритме она существует в наши имперские века как часть европейского и шире – евроатлантического расклада, входит в систему Запада, поддерживает своими ресурсами постоянную западную биполярность, перерастающую в биполярность всемирную; а с другой стороны – живет собственным ритмом системы Европа – Россия, как бы надстроенным над ритмом западного милитаризма, накладывающимся на этот опорный ритм, взаимодействующим с ним. Как только я это увидел, стала совершенно понятной странная особенность ялтинской системы: в рамках функционирования системы Европа – Россия это наш европейский максимум, мы выдвинулись в Европу предельно, невозможно сомневаться, что мы – европейская держава; в то же время в рамках ритмов западного милитаризма, западной геостратегии получается, что весь коренной Запад собран вокруг Соединенных Штатов под заокеанским зонтиком, нам достались периферийные, маргинальные народы европейского порога, принадлежность которых к Европе в разное время оспаривалась, была под сомнением. Получается, что мы начинаем сочетать черты государства максимально европейского в одном ритме с чертами государства неевропейского, выпихнутого из Европы – в другом ритме. Совершенно естественно, что к началу 90-х годов могла возникнуть идея – а не пора ли отказаться от такого отдельного строительства, сбросить всю эту империю и просто влиться в Европу? Мы не понимали одной простой вещи: Европа – не просто сообщество народов с определенным стилем и укладом жизни; это прежде всего силовая система с определенным раскладом ролей, и мы не задались вопросом, а какой будет наша собственная роль в этом раскладе. Она оказалась неизмеримо хуже роли Германии на предыдущем этапе: ролью государства, утерявшего свою функцию и болтающегося, что называется, как цветок в проруби. Это еще раз подтвердило мои мысли о том, что модель «острова Россия» сейчас может быть максимально осмысленной. Модель государства, уходящего от мирового противостояния, сообщества, для которого лучшее – попытаться остаться в стороне от столкновения «West and the Rest».

– *Каким образом?*

– Свои вопросы (например, чеченский) надо решать именно как свои, а не увязывать их со всемирной схваткой Запада и его, как говорил Тойнби, внешнего пролетариата. Не надо увязывать свою судьбу с судьбой претендентов на униполь. Никто не доказал, что у этих господ и у России одна судьба. Не надо болтать о «единой цивилизации» и общих «угрозах для нее».

Но вернемся к модели двоеритмия. Меня заинтересовало: а не может ли эта модель быть применена и к другим аспектам существования нашей цивилизации – культурным, социальным, например? Не может ли русская культура имперских веков и наша социальность, наша социальная динамика характеризоваться таким же двоеритмием? Не может ли она, с одной стороны, рассматриваться как своеобразное (скажем так – периферийное) отражение тех же процессов, которые переживала цивилизация Запада, а в другом аспекте соответствовать некому имманентному ритму, не вписывающемуся в ритм Запада? Всерьез встал вопрос о принципиальной возможности существования в мире последних веков каких-то территорий с имманентными ритмами. И тут приходится задуматься: а сколько вообще в современном мире цивилизаций и каковы они? Ответить на это можно двояко. Если исходить из броделевского учения о мир-экономиках, о замкнутых экономических системах, то первый ответ звучит так: в мире ровно столько цивилизаций, сколько в нем сообществ, когда-то представлявших миры-экономики. Если когда-то исламский мир представлял автономный мир-экономику, он сейчас и есть отдельная цивилизация. Как и Китай, как Россия. А второй ответ: в мире столько цивилизаций, сколько в нем мир-экономик сегодня. Поскольку она в нем сейчас одна, мир-экономика, охватившая планету, то значит в нем просто одна цивилизация. И тут мне очень помогло рассмотрение концепций двух великих людей – Шпенглера и Тойнби. В чем различие между этими авторами? По Шпенглеру, каждая цивилизация должна пройти через определенные фазы развития, потом претерпеть кризис и сгинуть. По Тойнби, нет никакой предрешенности в том, какие фазы должна пройти цивилизация; важно, чтобы она могла ответить на встречающиеся ей вызовы, и если справится с ними, то будет жить хотя бы и вечно. Меня очень заинтересовало соотношение этих моделей и в первую очередь вопрос: ну, хорошо, вот шпенглеровская цивилизация достигает пика, создает мировую империю в своем пространстве, потом ее разрушают варвары – что происходит с ее народами дальше? И открылся ответ, не предусмотренный Шпенглером. Он звучал так: либо она воздвигает над собой новую сакральную вертикаль, как произошло в Европе, когда вместо совокупности языческих верований появилась христианская вертикаль, и тогда начинается сызнова цивилизационный круг. Либо она остается верна своей прежней сакральной вертикали и тогда попадает в специфическое состояние, когда у нее уже нет никакой шпенглеровской судьбы, она живет по-тойнбиански, реагируя на внешние вызовы, более-менее с ними справляясь, адаптируясь, и в этом состоянии может тянуть как угодно долго. Китай последних двух тысячелетий после падения империи Хань действительно живет уже по ту сторону судьбы, в чисто тойнбианских ритмах. Как и Индия после Гуптов. То есть у любой цивилизации можно выделить фундаментальный шпенглеровский цикл и наступающее за ним уже тойнбианское, на самом деле постцивилизационное существование. А что такое шпенглеровский цикл? Это сперва закладка сакральной вертикали в эпоху аграрно-сословного существования, когда люди в основном делятся на земледельцев, землевладельцев и священников; формирование высокой культуры в рамках этой фазы, формирование высокой теологии, высокой поэзии; затем прорастание городов, революционное выдвижение горожан на ведущую роль в жизни сообщества. Шпенглер называл это фазой «Пифагора–Мухаммеда–Кромвеля» (Мухаммед – действительно пророк городской революции, бедуины фактически за считанные 50-60 лет стали элитой цветущих городов Ближнего Востока, которые подмяли под себя деревню и подчинили своим роскошным рынкам всё аграрное производство). И потом, говорит Шпенглер, эти города

естественно перерастают в космополисы, наступает эпоха космополисов, мегаполисов и империй – когда цивилизация вырождается и утрачивает внутреннюю форму. Наступает натиск варваров, крушение. А после этого уже вопрос: либо вы воздвигнете новую сакральную вертикаль и начнете новый цивилизационный шпенглеровский цикл, либо не сможете этого сделать и тогда просто впадете в тойнбианское постцивилизационное существование. Будете что-то развивать, совершенствовать те или иные отрасли культуры, преуспевать в некоторых отраслях, может быть, даже больше, чем в шпенглеровском цикле (как например Китай в эпоху Тан дал удивительную поэзию, подобной которой в раннем шпенглеровском цикле он не знал), но ничего качественно нового – новых парадигм осмысления Вселенной и человека – вы не произведете.

А какое это имеет отношение к сегодняшнему миру? Вот какое. Если верить Шпенглеру, то можно утверждать, что одна цивилизация из локальной стала всемирной и в рамках этой всемирной фазы достигла своего финального имперского состояния. Но, поглотив мир, она вобрала в него другие цивилизационные сообщества. В каком качестве они существуют? А в разных. Легче всего с китайцами и индусами, уже полторы тысячи лет как выпавшими из шпенглеровского цикла. Как они адаптировались к предыдущим эпохам, к натиску, скажем, арабов, монголов или к приходу англичан, так теперь адаптируются к новой эпохе, выискивая в ней благополучные ниши, которые могут захватить, и встраиваются в них. Интересное явление представляет мусульманский мир. Где-то с начала 20-х годов, когда вместе с Оттоманской Портой рухнула их мировая империя, мусульмане Среднего Востока живут, постоянно помня о ней, пытаются ее восстановить и по многим причинам не достигают этого. Не исключено, что новый Халифат еще возникнет, как на руинах Римской империи поднялась империя Карла Великого. Свою великую городскую революцию пережила Япония (условно говоря, с XII по XVI века), создав классическую культуру в эпоху Токугава и с XIX века вырвавшись в фазу имперского строительства. То есть в этом смысле она полностью синхронизировалась с Западом. Потерпев поражение в попытке создать свою территориальную империю, японцы пошли по самобытному пути – встроились в империю Запада и попытались воздвигнуть над ней свою надстроенную экономическую империю, чтобы паразитировать на западном планетарно-имперском образовании. И наконец, в рамках этого мира есть два сообщества, представляющих, на мой взгляд, наибольший интерес – Россия и Латинская Америка. Латинская Америка, как я понимаю, развивая в порядке модернизации городскую промышленную культуру в виде анклавной адаптации в окружающий мир, подстройки под его ритм (как в России Петр I создавал индустрию на крепостнической аграрно-сословной основе), в то же время обнаруживает собственный ритм. Это, собственно говоря, в рамках шпенглеровского цикла – высокая аграрно-сословная фаза с ее наиболее характерными чертами, с новым культурным стилем, с очень интересными религиозными поисками, вдохновляемыми «мировым страхом», с литературой, творцы коей, как например Маркес, порою сознают свою стадильную современность творцам античного и средневекового эпоса.

– То есть она может стать новой цивилизацией? Или является Великим Лимитрофом Америки?

– Там сейчас, похоже, растет новая цивилизация. Я не исключаю, что в будущем наступление латинос на юг США будет осмыслено в таком же героическом ключе цивилизационной увертюры, как крестовые походы европейцев, испанская реконкиста или взятие русскими Казани и Астрахани.

И очень странное явление сегодня представляет собой Россия – вопреки тому, что думал Шпенглер, считавший, что ей предстоит еще восходить и восходить где-то в даях тысячелетий (для нас это должно быть слишком лестно). На самом деле мы стартовали где-то в XV веке, создали с XV по XVII века свой первоначальный высокий стиль и после этого пережили то, что может соответствовать европейскому Ренессансу. Мы стали имитировать

формы чужой, «ставшей», совершенной и классической культуры, чтобы придать им особые функции и в этих особых, как бы классических формах воплотить свое специфическое содержание. Где-то в XVIII, XIX, начале XX веков мы пережили стадию такой же великой псевдоморфозы, как пережила Европа в XIV, XV, XVI веках, имитируя античные формы и вкладывая в них свое содержание. Мы достигли вершины нашей аграрно-сословной фазы в первой половине XIX века и с его середины вползаем в полосу великой городской революции. Очевидно, как это проявилось – не просто в урбанизации, но и в расшатывании старых форм управления, старых политических форм. 150 лет мы переживаем то, что можно назвать «эпохой тирании» – форм власти, основанных на насилии, захвате и сговоре, импровизируемых под того или иного правителя. Причем началось это с первых министерско-силовиков, выдвигаемых русскими императорами на командные посты и выступающих как реформаторы (Лорис-Меликов, Столыпин). Отсюда уже прямой путь к «комиссародержавию» и диктатурам белых генералов, к Сталину как «наследнику царей», к последующим олигархиям. И сейчас мы живем в эту же эпоху.

Как же с такой точки зрения должен рассматриваться большевизм? Именно как наша Реформация; фаза «Пифагора–Мухаммеда–Кромвеля» может быть доосмыслена как фаза «Пифагора–Мухаммеда–Кромвеля–Ленина». Если в абсолютной хронологии Сталин оказывается современником Гитлера, то в хронологии шпенглеровской, цивилизационно-морфологической он – современник Тюдоров, Борджиа, Людовика XI. Действительно так. Что же тогда нас ждет дальше? Хочу обратить внимание, что теперь я далеко уже вышел за пределы геополитических исследований, но, конечно, толчком к этим цивилизационно-морфологическим исследованиям стала открывшаяся мне на геостратегическом, геополитическом материале способность России существовать сразу в двух ритмах, о чем уже говорилось. Одного момента Шпенглер не отмечал: что вот эта эпоха «Пифагора–Мухаммеда–Кромвеля» характеризуется каждый раз двумя волнами – одна волна катит, утверждая новую вертикаль, освящающую существование городского человека, выпавшего из аграрно-сословного существования; и идет встречная волна, если угодно, попытка адаптировать к условиям существования горожанина ценности аграрно-сословного общества и подверстать его самого под те ценности. В Европе это вылилось в столкновение Реформации и Контрреформации, в Индии – в конкуренцию буддизма с обновленным брахманизмом, в Китае – в противостояние маоизма и близких ему идей конфуцианству, на Ближнем Востоке I тысячелетия – в борьбу ислама с византийским православием. Думаю, если бы мы были просто цивилизацией самой по себе, если бы не было нашего двоеритмия, мы могли бы, конечно, рассчитывать на то, что с большой силой у нас проявится контрреформационная волна, тем более, что такие люди, как Сергей Булгаков, Павел Флоренский, обосновали духовные возможности подобного движения. К сожалению, мы оказались в более сложной ситуации. Большевизм рухнул потому, что Россия не выдержала гнета двоеритмия. Большевики пытались осуществить не просто городскую революцию – они пытались выдержать состязание с Западом одновременно в милитаристской области и области качества жизни, сфере быта. И когда не справились с этими претензиями, наша Реформация оказалась существенно дискредитированной и откатилась вспять. И сейчас мы закрутились в каком-то странном междувременье, когда возникает впечатление, что имманентный наш цивилизационный ритм уже фактически угас, и мы живем исключительно на волнах вызовы-ответ тойнбианского ритма, пытаюсь адаптироваться и встроиться в мир, созданный не нами и на нас в расчете, приспособиться к требованиям и запросам его хозяев. Мое глубочайшее недоверие и неприязнь к этому времени связаны с тем, что «нефтяной бонапартизм», как я это называю, затушевывает, замазывает проблему, перед которой стоит Россия. А проблема в том, как сейчас – в нынешний век, когда нам не предстоит больших геостратегических перемен (судя по тем выкладкам, которые я приводил ранее), когда Россия зависла островом в Северной Евро-Азии, когда наша Реформация уже невозможна (прежде всего потому, повторю, что дискредитированы основные ее послышки, в частности, замечательный образ пролетария, который, будучи отчужденным от своей сущности, в то же

время в своем восстании возвращает эту сущность и вместе с тем спасает мир для новой жизни) – как, по какому пути пойдет наша Контрреформация. Ведь Контрреформация – всегда апелляция к ценностям, к укладу аграрно-сословной фазы. Но у нас было два лика этой фазы: Московская Русь с ее четкой ценностно-культурной гомогенностью и Петербургская ренессансная Россия с ее авторитаризмом, скрепляющим ценностно-гетерогенное, разделенное и расколотое общество. И думаю, у нас могут быть два варианта. Первый – это движение по петербургскому пути, это раскол населения на «белую кость» и «быдло», за которыми закрепятся принципиально различные ценности: различные, но не равноправные. Второй – возможность выхода на путь Московской Руси (которую я высоко ценю хотя бы за моего любимца Филофея) и формирование ценностно-гомогенного общества. Для меня сейчас образами этих двух вариантов, их персонификациями являются, с одной стороны, Ходорковский, с другой – Глазьев. Но, честно говоря, Глазьев, по-моему, не справляется со своей задачей. Вопрос в том, придет ли человек, который справлялся бы с ней и должен бы взять на себя миссию олицетворить политически «народную Контрреформацию».

Когда-то Георгий Федотов, обсуждая возможные пути развития России в XX веке, помимо путей большевистского и эсеровского (который представлял, по сути, разновидность реформационного пути и проиграл большевизму), указывал на два варианта, которые я рассматриваю как два образа народной Контрреформации. Первый у Федотова достаточно страшноватый – это «пугачевщина, санкционированная тронем и поддержанная церковью», с истреблением космополитического дворянства и части интеллигенции, с «черным переделом» земли и трансформацией монархии в подобие фашизма. Второй вариант был назван Федотовым «дело Александра II» – то есть продолжение адаптивно-реформаторского пути «в одеждах Алексея Михайловича», с апелляцией к купечеству и к национальной буржуазии, к наиболее прогрессивным кругам церкви. Большевики фактически смели все слои, с которыми связывались эти варианты. Но, думаю, в XXI веке нам может по-новому засветить та самая народная Контрреформация – как в ее черном, так и в светлом вариантах.

– Но это при условии, что Россия – остров, как вы говорите. А может она в современном мире быть островом?

– Не знаю. Вопрос в том, смогут ли появиться люди, способные совместить две задачи России: так называемой модернизации, адаптации к внешнему миру; и довершения нашей городской революции, формирования у нас прочной городской культуры. Это большая проблема. Тут много аспектов, в частности, схватка между космополитической культурой мегаполисов и сформировавшейся за 150 лет национальной культурой городов. Я написал недавно в одной из своих статей, что фактически лозунгом народной Контрреформации по «московскому» пути могла бы стать такая триединая формула: 1) внутренний рынок, 2) технологическое обновление в ореоле обновления духовного и 3) контроль народа над элитами, «моральное закрепощение элиты» – вот именно так. Нашлась бы сила, которая могла бы это двинуть...

– И какое новое направление вытекает из очерченного вами круга исследований?

– Как ни странно, оно связано сразу и с Тойнби и с Апокалипсисом Иоанна. Года два назад меня заинтересовало удивительное сходство сюжета святого Иоанна с тойнбианским сюжетом, повествующим о конце мировых империй, мировых государств – что, думаю, не случайно. Святой Иоанн жил в ту пору, когда античная цивилизация входила в имперскую фазу, и он помнил, как гибли предыдущие цивилизации такого же рода (например, Ассирийско-Вавилонская), на периферии которой в духовном протесте рождались великие религии будущего, иранский зороастризм и проповеди иудейских пророков. И у него возникает

удивительное предвидение, предчувствие. Образ гигантского Вавилона, так называемой вавилонской блудницы. Надо сказать, что, на мой взгляд, Апокалипсис Иоанна принадлежит к тем текстам, значение которых разъясняется с течением времени. Чем дальше, тем лучше мы понимаем, что хотел сказать Иоанн, что могло стоять за теми или иными его пророчествами. И вот когда он говорит о своем Вавилоне, о том, что на «вавилонскую блудницу» падет ответственность за кровь всех убитых на земле, думаешь: как бы христиане ни ненавидели Рим, едва ли они стали бы валить на него ответственность за кровь кого-то, убитого в Индии, Эфиопии, Африке, среди германцев и так далее. Впечатление такое, что апостол за судьбами Рима, в котором он живет, прозревает некоторую фантастическую для его дней, планетарную имперскую государственность, которая возникнет на Земле, и пытается предвидеть ее судьбу. И что же он предвидит? Эту планетарную государственность, которая все народы отравила блудом своим (фактически оказала на них свое неизгладимое геокультурное воздействие), постигнет то же, что постигало все мировые державы, и по ней будут отчаянно рыдать все купцы Земли, которые ей служили и обожали её, потому что она была их покровительницей. Происходит так называемое восстание «десяти рогов», которые терзают ее, рвут и сокрушают, к горю и печали вот этих купцов...

Если мы обратимся к Тойнби, то увидим, что у него в соответствующей исторической позиции оказываются формирование мировой державы и все тех же внутреннего и внешнего пролетариата, которые, соединяясь, взрывают ее наконец и крушат. Но у Тойнби есть еще один очень интересный момент – указание на то, что в рамках мировых держав формируются и так называемые альтернативные мировые религии, религии того внешнего и внутреннего пролетариата, и потом под их знаком могут происходить попытки возникновения как бы двойников этой погибшей державы (например, империя Карла Великого по отношению к Римской, или еще раньше средневековая Персидская держава по отношению к Ассиро-Вавилонской). Если тут перейти к Иоанну, то можно заметить: у него функционируют два термина – «Вавилон» и «царство зверя», которые толкователи часто смешивают. У Иоанна же ясно сказано: восставшие «десять рогов» разрывают «Вавилон», крушат его, а потом передоверяют себя, вручают свои владения, свои земли вот этому будущему «царству зверя». Таким образом, с точки зрения тойнбианской, можно было бы сказать, что внутри мировой империи должна вырасти альтернативная мировая религия, альтернативная сакральная вертикаль, которая после эпохи больших смут, катастроф, восстаний внешнего пролетариата даст стимул обновить евро-атлантическую мировую государственность, попытаться отстроить ее по-новому, под новой сакральной вертикалью. Вот это то, что меня чрезвычайно заинтересовало, поскольку, честно говоря, я не знаю, входим ли мы с созданием планетарного униполюса в эпоху, для которой былые чередования волн и юг утрачивают свою силу, или они ее по-прежнему сохраняют. Если сохраняют, то тогда где-то к концу нашего века или в веке следующем ожидается всплеск новых великих войн, новых потрясений. И для христианского сознания (если оно уцелеет к тому времени) это было бы как раз то, о чем повествует апостол как о восстании «десяти рогов», сокрушающих мировую державность. Но тогда еще вопрос: а что, собственно, видится ему за этим, там, вдали? Что он называет «царством зверя»? Царство, которое вступит в своеобразный симбиоз с «религией лжепророка» – каковой будет с рогами агнца, то есть будет имитировать традиции старой авраамической религии, фактически имея совершенно другие, весьма хищные и сомнительные запросы... Чрезвычайно интересно, когда то, о чем говорили люди, казалось бы, такие «иррациональные», как апостол Иоанн, может быть рационализировано на языке современной культурологии, современной геополитики и может рассматриваться (будучи переформулированным на этом языке) как некое, скажем так, предупреждение, заставляющее нас быть настороже.

– По отношению к чему?

– По отношению к существующему миру. В принципе мир как он есть должен погибнуть. Вот о чем говорит апостол Иоанн. Больше всего мне понравилась его загадочная фраза, которую толкуют по-разному: «И каждый остров убежал, а гор не стало». Я посмотрел, как это по-гречески, и оказалось, можно перевести по-другому: «И каждый город спасся, а горы исчезли». В принципе, это указание на то, что вершины будущего мира, этой планетарной государственности сущностно, так сказать, обречены, но острова имеют определенные шансы... И так я опять вернулся к своему Филофею, и снова возник передо мною его сюжет, утверждающий, что вселенная, по существу, уже потоплена, но главное – надо устоять на своем острове.

Вот практически то, чем я занимался последние годы. Вот мой взгляд на мир и Россию. В своих публикациях я выступаю за достоинство и главенство геополитики. Я настаиваю на том, что геополитика сейчас у нас необходима просто для того, чтобы утвердить, если угодно, некоторое единение людей, живущих на этой земле, по отношению к окружающему миру. Это ее задача и ее цель.

– Но мы хотим всеобщего понимания, некоего слияния с миром...

– Так думает, например, и человек, который мне очень близок, – Александр Неклесса. Я же знаю, что для русских пафос «всеобщего понимания» и «слияния с миром» слишком часто оборачивается патологией самоотрицания, жаждою – избыть данное русским историческое бытие. В таких случаях я прямо иду на провокацию, утверждая: «Если русский – всечеловек, значит, без остальных можно и обойтись, при нужде произведя их из нас самих». О, какие при этом бывают физиономии! Истинные всечеловеки!

– Скажите, Вадим Леонидович, а что движет вами в ваших исследовательских опытах? Вы работаете для какой-то избранной вами референтной группы, для пользы высокой теории, исходя из задач практики или из собственного научного интереса, для себя? Что для вас является стимулом?

– Я как Чечня – «субъект Аллаха». Кроме шуток – я человек настолько, что называется, одержимый разными стихиями, что не чувствую себя христианским человеком. Меня невозможно шантажировать спасением моей души, потому что для меня это спасение – дело даже не полезное, а просто никакое. Но когда я думаю о русских, то все время спрашиваю себя: «А что у нас как сообщества есть, кроме христианства?». Европа сохранила еще языческое наследие, которое воплотилось в Третьем Рейхе – и ого-го как воплотилось! Не исключено, что там возможна какая-то альтернативная линия, которая способна еще прорасти во что-то грандиозное. В Латинской Америке вообще наследие таково, что не исключено совершенно альтернативное цивилизационное образование. Я не очень высоко ставлю Даниила Андреева, но меня восхищает, что в его «Розе Мира» Антихрист рождается в Латинской Америке, а все оставшиеся верными собираются в Сибири. Понимаете, у этих народов есть их особое наследие, и они могут его реализовать, если осмелятся. Но, простите, когда я вижу всю эту стряпню насчет славянских валькирий, культа Перуна и так далее – это же смешное и малоаппетитное баловство. Взглянем на так называемые тоталитаризмы Запада и наш в XX веке. Они смогли воздвигнуть такую зверюгу на альтернативном христианству базисе. А мы, собственно говоря, ничего не смогли, кроме как развернуть довольно величественное здание, но исключительно на базе иудео-христианской ереси. Понимаете? Поэтому я считаю, что применительно к России даже человек, которому чужд христианский мир или который его ненавидит, должен задаться вопросом: «А что у нас есть, кроме этого?». И я не вижу, чтобы он нашел ответ.

– *Вы ищете?*

– Нет, не ищу. Для меня ответ очевиден: по особенностям моего сознания я естественно вижу себя вне православия и вне христианства вообще, но России как сообщества вне христианства не представляю. И даже почти невероятное новое открытие большевизма не вывело бы русских из христианского духовного поля, в его специфическом искривлении.

– *Вы вступаете в дискуссии? Вас поругивают или, наоборот, поддерживают? Либо вы самостоятельный «остров»?*

– Я обратил внимание: то, что я пишу, часто просто не воспринимается. А если не воспринимается, то в какую я могу вступать дискуссию? Если никто не поймет – значит не поймет. Без комментариев. Если кто-то поймет – тем лучше и для него и для меня. Но причем здесь дискуссии? Я пишу. Я печатаюсь. В очень редких случаях даю интервью или где-то выступаю, но, думаю, такие выступления уже будут единичными. Я человек в это время не востребованный.

– *Кем?*

– Сообществом, в котором существовал. Во всяком случае, так было до сих пор: да, я имел возможность много и свободно печататься (80 печатных листов, не считая филологических работ), имел все блага гласности, но не имел даже подобия благ слышимости. Во мне оказалось достаточно сил, чтобы поставить себя тем единственным поручиком, идущим в ногу.